

Произведения родной русской литературы для 9 класса

Содержание

«ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ»

Как не две тученьки не две грозныя... (<i>Русская народная песня</i>)	2
В.А. Жуковский. Певец во стане русских воинов	2
А. С. Пушкин. Бородинская годовщина. Полководец	5
И.И. Лажечников. Новобранец 1812 года	6
М.И. Цветаева. Генералам двенадцатого года	9
ГОРОДА ЗЕМЛИ РУССКОЙ	
А.С. Пушкин «Город пышный, город бедный...»	10
О.Э. Мандельштам. Петербургские строфы	11
А.А. Ахматова. Стихи о Петербурге	11
Д. Самойлов. Над Невой	12
Л.В. Успенский. Записки старого петербуржца	12
РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ	
Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская... (<i>Русская народная песня</i>)	15
И.Э. Суриков. В степи	16
П.А. Вяземский. Степь	18
А.П. Чехов. Степь	19
РУССКИЕ ТРАДИЦИИ	
К.Д. Бальмонт. Первый Спас	20
Е.А. Евтушенко «Само упало яблоко с небес...»	20
Б.А. Ахмадулина. Ночь упадания яблок	21
Е.Н. Носов. Яблочный Спас	22
ТЕПЛО РОДНОГО ДОМА	
А.П. Платонов. На заре туманной юности	27
В.П. Астафьев. Далекая и близкая сказка	33
РУССКИЙ ХАРАКТЕР - РУССКАЯ ДУША	
Н.П. Майоров. Мы	40
М.В. Кульчицкий «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!»	41
Ю.М. Нагибин. Ваганов	41
Е.И. Носов. Переправа	46
ЗАГАДКИ РУССКОЙ ДУШИ	
Б.К. Зайцев. Легкое бремя	49
А.Т. Аверченко. Русское искусство	50
О ВАШИХ РОВЕСНИКАХ	
Ю.И. Коваль. От красных ворот	52
ЛИШЬ СЛОВУ ЖИЗНЬ ДАНА	
И. А. Бродский Мой народ	58
С.А. Каргашин «Я – русский! Спасибо, Господи!»	59

Как не две тученьки не две грозныя... (Русская народная песня)

Как не две тученьки не две грозныя
Вместе соходилися—
Как две силы-армеюшки
Вместе соезжались:
Как одна сила-армеюшка
Она Царя Белого,
Как вторая сила-армеюшка
Короля французского.
Господа ли генералушки
Вместе соходилися,
Они думали крепку думушку
Все заедино:
„А когда же у нас, братцы, будет
Бой-батальица?
На осенний первый праздничек, братцы,
На Семенов день.»
Как Семенов день приходить, братцы,
Как гора валит;
Как Семенов день проходить, братцы,
Как река бежит;
Как ударили из пушек, братцы,
Из винтовочек—
Покатилися с могучих плеч
Головушки,
Полилася басурманская кровь
На все четыре стороны.

Василий Жуковский. Певец во стане русских воинов (В сокращении)

Певец

На поле бранном тишина;
Огни между шатрами;
Друзья, здесь светит нам луна,
Здесь кров небес над нами.

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Там все — там родших милый дом;
Там наши жены, чада;
О нас их слезы пред творцом;
Мы жизни их ограда;
Там девы — прелесть наших дней,
И сонм друзей бесценный,
И царский трон, и прах царей,
И предков прах священный.

За них, друзья, всю нашу кровь!
На вражьи грянем силы;
Да в чадах к родине любовь
Зажгут отцов могилы.

Воины

За них, за них всю нашу кровь!
На вражьи грянем силы;
Да в чадах к родине любовь
Зажгут отцов могилы.

Певец

Сей кубок ратным и вождям!
В шатрах, на поле чести,
И жизнь и смерть — все пополам;
Там дружество без лести,
Решимость, правда, простота,
И нравов непритворство,
И смелость — бранных красота,
И твердость, и покорство.
Друзья, мы чужды низким уз;
К венцам стезею правой!
Опасность — твердый наш союз;
Одной пылаем славой.

Тот наш, кто первый в бой летит
На гибель супостата,
Кто слабость падшего щадит
И грозно мстит за брата;
Он взором жизнь дает полкам;
Он махом мощной длани
Их мчит во сретенье врагам,
В средину шумной брани;
Ему веселье битвы глас,
Спокоен под громами:
Он свой последний видит час
Бесстрашными очами.

Хвала тебе, наш бодрый вождь,
Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь, и дождь,
И труд он делит с нами.
О, сколь с израненным челом
Пред строем он прекрасен!
И сколь он хладен пред врагом
И сколь врагу ужасен!
О, диво! се орел пронзил
Над ним небес равнины...
Могущий вождь главу склонил;
Ура! кричат дружины.

Лети ко прадедам, орел,
Пророком славной мести!
Мы тверды: вождь наш перешел
Путь гибели и чести;
С ним опыт, сын труда и лет;
Он бодр и с сединою;
Ему знаком победы след...
Доверенность к герою!
Нет, други, нет! не предана
Москва на расхищенье;

Там стены!.. в россах вся она;
Мы здесь — и бог наш мщенье.

Воины

Вожди славян, хвала и честь!
Свершайте истребленье,
Отчизна к вам взывает: месть!
Вселенная: спасенье!

Певец

Но светлых облаков гряда
Уж утро возвещает;
Уже восточная звезда
Над холмами играет;
Редееет сумрак; сквозь туман
Проглянули равнины,
И дальний лес, и тихий стан,
И спящие дружины.
О други, скоро!.. день грядет...
Недвижны рати бурны...
Но... Рок уж жребии берет
Из таинственной урны.

О новый день, когда твой свет
Исчезнет за холмами,
Сколь многих взор наш не найдет
Меж нашими рядами!..
И он блеснул!.. Чу!.. вестовой
Перун по холмам грянул;
Внимайте: в поле шум глухой!
Смотрите: стан воспрянул!
И кони ржут, грызя бразды;
И строй сомкнулся с строем;
И вождь летит перед ряды;
И пышет ратник боем.

Друзья, прощанью кубок сей!
И смело в бой кровавой
Под вихорь стрел, на ряд мечей,
За смертью иль за славой...
О вы, которых и вдали
Боготворим сердцами,
Вам, вам все блага на земли!
Щит промысла над вами!..
Всевышний царь, благослови!
А вы, друзья, лобзанье
В завет: здесь верная любви,
Там сладкого свиданья!

Воины

Всевышний царь, благослови!
А вы, друзья, лобзанье
В завет: здесь верная любви,
Там сладкого свиданья!

Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!...
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.
И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русской штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долг будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под знаком северных полей!

Полководец

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот, — а все плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу,
И, мнится, слышу их воинственные клики.
Из них уж многих нет; другие, коих лики
Еще так молоды на ярком полотне,
Уже состарились и никнут в тишине
Главою лавровой...
Но в сей толпе суровой
Один меня влечет всех больше. С думой новой
Всегда остановлюсь пред ним — и не свожу
С него моих очей. Чем долее гляжу,
Тем более томим я грустию тяжелой.

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом — густая мгла;
За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье, —
Но Доу дал ему такое выраженье.

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоём звук чуждый невзлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...
И долго, укреплен могущим убежденьем,
Ты был непоколебим пред общим заблужденье;
И на полупути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманый глубоко, —
И в полковых рядах сокрыться одиноко.
Там, устарелый вождь! как ратник молодой,
Свинца веселый свист заслышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, —
Вотще! —

.....
.....

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколеньях
Поэта приведет в восторг и в умиленья!

Иван Лажечников. Новобранец 1812 года (Фрагмент)

С рассветом были мы уже на дороге к Рязани. Близ почтовой станции (не помню названия деревни) расположили мы свой табор, для полдневания. Раскинутые по лугу бесчисленные палатки, табун коней, оглашающих воздух ржанием своим, зажженные костры, многолюдство, пестрота возрастов и одежд, немолчное движение — все это представляло зрелище прекрасное, но могло ли это зрелище восхитить нас? Я пошел с несколькими помещиками и купцами прогуляться по деревне. Когда мы подходили к станционному дому, возле него остановилась колясочка: она была откинута. В ней сидел — Барклай де Толли. Его сопровождал только один адъютант. При этом имени почти все, что было в деревне, составило тесный и многочисленный круг и обступило экипаж. Смутный ропот пробежал по толпе... Немудрено... Отступление к Москве расположило еще более умы против него; кроме государя и некоторых избранных, никто не понимал тогда великого полководца, который с начала войны до бородинской отчаянной схватки сберег на плечах своих судьбу России, охваченную со всех сторон еще неслыханную от века силою военного гения и столь же громадною вещественною силою. Но ропот тотчас замолк: его мигом сдержал величавый, спокойный, холодный взор полководца. Ни малейшая тень смущения или опасения не пробежала по лицу его. В этом взоре не было ни угрозы, ни гнева, ни укоризны, но в нем было то волшебное, не разгадываемое простыми смертными могущество, которым наделяет провидение своего избранника и которому невольно покоряются толпы, будучи сами не в состоянии дать отчета, чему они покоряются. Мне случалось видеть, как этот холодный, спокойный, самоуверенный взгляд водил войска к победе, как он одушевлял их при отступлении (из-под Бауцена и окрестностей Парижа, когда мы в первый раз подходили к нему). Русский солдат, всегда недовольный ретирадами, не роптал тогда, потому что, смотря на своего предводителя, уверен был, что не побежден, а отступает ради будущей победы.

День был ясный, коляска стояла под тенью липы, урвавшей на улицу несколько густых сучьев из-за плетня деревенского сада. Барклай де Толли скинул фуражку, и засиял голый, как ладонь, череп, обессмертенный кистью Дова и пером Пушкина. При этом движении разнородная толпа обнажила свои головы. Вскоре лошади были готовы, и экипаж исчез в клубах пыли. Но долго еще стояла толпа на прежнем месте, смущенная и огромлённая видением великого человека.

Не знаю, куда ехал тогда Барклай де Толли, но знаю, что 25-го сентября он был в Калуге. Оттуда писал он, именно этого числа, к графу Остерману-Толстому (у которого впоследствии был я адъютантом) письмо, чрезвычайно замечательное по тогдашнему положению бывшего начальника армии. В нем изъяснял он

грусть свою, что расстался с русским войском, и приятную уверенность, что в нем остаются полководцы, которые поддержат честь русского имени.

В Рязани пробыли мы недолго. Здесь вскоре узнали, что французам не поздоровилось в Москве и что они, как журавли к осени, начали потягивать на теплые места, и потому мы возвратились в Коломну.

Здесь я стал вновь проситься у родителей моих позволить мне идти в военную службу и получил опять тот же отказ. Тогда я дал себе клятву исполнить мое намерение во что бы ни стало, бежать из дому родительского и, как я не имел служебного свидетельства, идти хоть в солдаты. Намерению моему нашел я скоро живое поощрение. В городе явился отставной (помнится, штаб-офицер) кавалерист Беклемишев, поседельный в боях, который, записав сына в гусары, собирался отправить его в армию. С этим молодым человеком ехал туда же гусарский юнкер Ардал., сын богатого армянина. Я открыл им свое намерение; старик благословил меня на святое дело, как он говорил, и обещался доставить в главную квартиру рекомендательное письмо, а молодые люди дали мне слово взять меня с собою. За душой не было у меня ни копейки: коломенский торговец-аферист купил у меня шубу, стоящую рублей 300, за 50 рублей, подозревая, что я продаю ее тайно... С этим богатством и дедовскою меховою курткой, покрытой зеленым рытым бархатом, шел я на службу боевую. Назначен был день отъезда. Все приготовления хранились в глубочайшей тайне. Роковой день наступал — сердце было у меня не на месте. В одиннадцатом часу вечера простился я с матерью, расточая ей самые нежные ласки; с трудом удерживал я слезы, готовые упасть на ее руку; я сказал ей, что хочу ранее лечь спать, потому что у меня очень разболелась голова. И она, будто по предчувствию, необыкновенно ласкала меня и два раза принималась меня благословлять. В своей спальне я усердно молился, прося господина простить мой самовольный поступок и облегчить горечь и страх моих родных, когда они узнают, что я их ослушался и бежал от них. Меньшему брату, который спал со мною в одной комнате, сказал я, что пойду прогуляться по саду и чтобы он не беспокоился, если я долго не приду. Помолвившись еще раз, я вышел в сени. Условный колокольчик зазвенел за воротами; я видел, как ямщик на лихой тройке промчался мимо их, давая мне знать, что все готово к отъезду. Еще несколько шагов в кремль, где жил Беклемишев, — и я на свободе. Но в сенях встретил меня дядька мой Ларивон. «Худое, барин, затеяли вы, — сказал он мне с неудовольствием, — я знаю все ваши проделки. Оставайтесь-ка дома, да ложитесь спать, не то я сейчас доложу папеньке и вам будет нехорошо». Точно громовым ударомшибли меня эти слова. Я обидно стал упрекать дядьку, что он выдумывает на меня небылицу, заверяя его, что я только хочу пройтись по городу. Но Ларивон был неумолим. «Воля ваша, — продолжал он, — задние сени в сад у меня заперты на замок; я стану на карауле в нижних сенях, что на двор, и не пропущу вас, а если вздумаете бежать силою, так я тотчас подниму тревогу по всему дому. У ворот поставил я караульного, и он то же сделает, в случае удачи вашей вырваться от меня». Тут я переменял упрек на моления; я слезно просил его выпустить меня и нежно целовал его. Но дядька был неумолим. Делать было нечего; надо было оставаться в заключении. Отчаяние мое было ужасно; можно сравнить это положение только с состоянием узника, который подпилил свои цепи и решетку у тюрьмы, готов был бежать, и вдруг пойман... Дядька мой преспокойно сошел вниз. Проклиная его и судьбу свою, я зарыдал, как ребенок. Вся эта сцена происходила в верхнем этаже очень высокого дома. Из дверей сеней виден был, сквозь пролом древнего кремля, огонь в квартире старого гусара, который собирался посвятить меня в рыцари. Я вышел на балкон, чтобы взглянуть последний раз на этот заветный огонек и проститься навсегда с прекрасными мечтами, которые так долго тешили меня. Вдруг, с правой стороны балкона, на столетней ели, растущей подле него, зашевелилась птица. Какая-то неведомая сила толкнула меня в эту сторону. Вижу, довольно крепкий сук от ели будто предлагает мне руку спасения. Не рассуждая об опасности, перелезаю через перила балкона, бросаюсь вниз, цепляюсь проворно за сучок, висну на нем и упираюсь ногами в другой, более твердый сучок. Тут, как векша, сползаю проворно с дерева, обдираю себе до крови руки и колена, становлюсь на земле и пробегаю минуты в три довольно обширный сад, бывший за домом, на углу двух переулков. От переулка, ближайшего к моей цели, был забор сажени в полторы вышины: никакая преграда меня не останавливает. Перелезаю через него, как искусный волтижёр. Если бы заставили меня это сделать в другое время, у меня не достало бы на это ни довольно искусства, ни довольно силы. Но таково могущество воли, что оно удесяттеряет все способности душевные и телесные. Перебежать переулок и площадь, разделявшую дом наш от кремля, и влететь в дом, где ожидали меня, было тоже делом нескольких минут. Я пробежал задыхаясь, готовый упасть на пол; на голове у меня ничего не было, волосы от поту липли к разгоревшимся щекам. Мои друзья уже давно ждали меня, сильно опасаясь, не случилось ли со мной какой невзгоды. Старый гусар благословил меня образом, перед которым только что отслужили напутственный молебен; на меня нахлобучили первый попавшийся на глаза картуз, мы сели в повозки и промчались, как вихрь, через город, берегом Коломенки и через Запрудье. Кормили лошадей за 40 верст, потом в Островцах. Несколько раз дорогою, казалось мне, нас догоняют; в ушах отзывался топот лошадиный, нас преследующий; в темноте за мной гнались какие-то видения. Сердце трепетало в груди, как голубь. В Москву въехали мы поздно вечером. Неприятель уже оставил город: у заставы на карауле были изюмские гусары; они грелись около зажжённых костров. Русские солдаты, русский стан были для нас отрадными явлениями. Мы благоговейно перекрестились, въезжая в заставу, и готовы были броситься целовать караульных, точно в заутреню светлого Христова воскресения. И было чему радоваться, было с чем братьям поздравлять друг друга: Россия была спасена!

Москва представляла совершенное разрушение; почти все дома были обгорелые, без крыш; некоторые еще дымились; одни трубы безобразно высились над ними; оторванные железные листы жалобно стонали; кое-где в подвалах мелькали огоньки. Мы проехали весь город до Калужской заставы, не встретив ни одного живого существа. Только видели два-три трупа французских солдат, валявшихся на берегу Яузы.

«Великолепная гробница! — сказал я, обратившись к московским развалинам. — В тебе похоронены величие и сила небывалого от века военного гения! Но из тебя восстанет новая могущественная жизнь, тебя оградит новая нравственная твердыня, чрез которую ни один враг не посмеет отныне перейти; да уверится он, что для русского нет невозможной жертвы, когда ему нужно спасать честь и независимость родины».

Мы остановились в селении Троицком (имении моего товарища Ардал), помнится, верстах в трех от Москвы. В доме нашли мы величайший беспорядок; казалось, неприятель только что его оставил. Зеркала были разбиты, фортепиано разломано, уцелевшее платье, в том числе и мальтийский мундир покойного помещика, которое не годилось в дело, валялось на полу. В Троицком прожили несколько дней; здесь, казалось, укрывался я в совершенной безопасности от поисков. Мы ездили раз в Москву, посмотреть, что там делается. Народ с каждым днем прибывал в нее; строились против гостиного двора и на разных рынках балаганы и дощатые лавочки; торговля зашевелилась. Дымились на улицах кучи навоза, зажженные для ограждения от заразы мертвых тел.

Нам с товарищами надо было еще объехать деревни Ардал, которые находились в Московской губернии, в ближайших уездах, помнится, Звенигородском и Дмитровском, и собрать оброки, потому что молодой помещик, отправлявшийся в армию, был совершенно без денег. Казалось, время для такого сбора, по случаю военной невзгоды, тяжело налегшей на эти края, было самое неблагоприятное. Напротив того, крестьяне этих уездов собрали богатую дань с неприятелей, взявших ее с Москвы: почти у каждого мужичка были деньги, серебряные или золотые часы, богатые материи, сукна, головы сахару и пр. Крестьяне везде встречали молодого господина с хлебом и солью и немедленно вносили ему оброк, даже часть вперед. Только в одной деревне они немного запрямились, но мы, трое юношей (и на меня надели гусарский ментик, и меня опоясали саблею), на сходке загремели саблями, и буйные головы немедленно с повинною преклонились перед грозными воинами, у которых еще ус не пробивался. Морозы уже наступали; раз, в дороге, желая согреться, я пошел пешком и, оставши от товарищей, едва не замерз в виду какой-то господской великолепной дачи, совершенно опустелой. Только что возвратились мы в Троицкое и собирались уже на другой день отправиться в главную квартиру армии (это было поздно вечером), как вбежал ко мне в комнату хозяин и объявил, что приехал мой отец. Не зная, что делать, я спрятался в *людскую*. Тут, подле меня, лежала на смертном одре какая-то старушка: я слышал предсмертный колоколец; первый раз в жизни видел я, как человек умирает. Лихорадка трясла меня, но не от этого зрелища, а от страха, что отец узнал мое убежище и приехал исторгнуть меня из него, чтобы вновь теснее связать мою волю. Но вскоре я услышал его голос, нежный, выходящий из любящей души: «Пускай покажется Ваня, — говорил он, — пускай придет; я его прощаю, я сам благословляю его на службу». Тут, не колеблясь ни минуты, бросился я в его объятия, целовал его руки, обливал их слезами. С груди моей свалился камень. Это была одна из счастливейших минут моей жизни.

На другой день отец повез меня в Москву и представил беглеца московскому гражданскому губернатору Обрез., который возвратился в столицу с должностными чинами. (Он стоял тогда в Леонтьевском переулке.) Губернатор, в присутствии многих лиц, сделал мне строгий выговор, что я огорчил родителей своим побегом, но приказал, однако ж, тотчас выдать мне служебное свидетельство и вручил мне рекомендательное письмо к главному начальнику московского ополчения. Вскоре приехал я в московское ополчение офицером и через несколько дней был переведен в московский гренадерский полк. Счастье мне улыбнулось: начальник 2-й гренадерской дивизии, принц мекленбургский Карл, взял меня к себе в адъютанты.

Вот как 12-й великий год завербовал меня в свои новобранцы.

Марина Цветаева. Генералам двенадцатого года

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса.

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след —

Очаровательные франты
Минувших лет.

Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.

Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера —
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера.

Вам все вершины были малы
И мягок — самый черствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!

Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик,

И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна.

О, как — мне кажется — могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать — и гривы
Своих коней.

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век...
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.

Три сотни побеждало — трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы все могли.

Что так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?..
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.

Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие —
И весело переходили
В небытие.

Александр Пушкин «Город пышный, город бедный...»

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

Осип Мандельштам. Петербургские строфы

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, — как броненосец в доке,
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка...

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница.
Самолюбивый, скромный пешеход,
Чудак Евгений бедности стыдится
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

Анна Ахматова. Стихи о Петербурге

1

Вновь Исакий в облаченье
Из литого серебра.

Стынет в грозном нетерпенье
Конь Великого Петра.

Ветер душный и суровый
С черных труб сметает гарь...
Ах! своей столицей новой
Недоволен государь.

2

Сердце бьется ровно, мерно.
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.

Сквозь опущенные веки
Вижу, вижу, ты со мной,
И в руке твоей навеки
Нераскрытый веер мой.

Оттого, что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,
В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес, —

Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий.
Вся любовь утолена.

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера, —
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

Давид Самойлов. Над Невой

Весь город в плавных разворотах,
И лишь подчеркивает даль
В проспектах, арках и воротах
Классическая вертикаль.

И все дворцы, ограды, зданья,
И эти львы, и этот конь
Видны, как бы для любованья
Поставленные на ладонь.

И плавно прилегают воды
К седым гранитам городским —
Большие замыслы природы
К великим замыслам людским.

Лев Успенский. Записки старого петербуржца

Глава «Фонарики-сударики» (В сокращении)

В детские годы мои мне часто приходилось в ранних зимних сумерках возвращаться домой. Сначала – с сопровождающими, из детского сада или из сада обыкновенного; потом – самостоятельно, из первых классов школы.

Откуда бы я ни шел, я шел сначала по , мимо низких желтых строений академического городка, мимо ворот, с конскими головами на ключевых камнях арок, мимо пятиэтажного дома Крестина, где на весь первый этаж разлеглась очень занимавшая меня своей бесконечной длиной вывеска: "Типо-лито-цинко-графия"

Потом я сворачивал на свою Нюстадтскую.

Должно быть, довольно часто дело поворачивалось так, что на некрутом углу двух этих улиц я оказывался как раз в момент зажигания вечерних фонарей.

Сначала – и я об этом помню уже совсем смутно – тут, на окраинной Нюстадтской, редко, на больших расстояниях друг от друга, стояли прямые, некрасивые, по-моему даже еще не металлические, а деревянные, столбы, увенчанные наверху простодушными, вовсе архаического и провинциального вида, стеклянными домиками, в виде поставленных на меньшее основание четырехгранных усеченных пирамид, сверху прикрытых такими же четырехгранными железными крышами.

В каждом таком "скворечнике" была неприглядная керосиновая лампочка с узким стеклом-фонарем; точно такие же лампы продавались в керосиновых и посудных лавках на общую обывательскую потребу. Они горели на окнах, в мелких лавочках. Идя по улице, можно было видеть в окнах первого этажа тут сапожника, там столяра, занимающегося своей работой в зимней преждевременной серой полутьме, в свете – а точнее в рыжем смутном мерцании – точно такой же лампы, тут – трехлинейной, там – от великой роскоши – пятилинейной.

Пониже стеклянного "скворечника" на столбе была перекаладина. В сумеречные часы позднего ноября или снежного декабря всюду на окраинах можно было видеть пропахших керосином фонарщиков. С коротенькой легкой лесенкой на плече, с сумкой, где был уложен кое-какой аварийный запас – несколько стекол, моток фитиля – фонарщик стремглав несся вдоль уличных сугробов, неустанно перебегая наискось от фонаря на четной к фонарю на нечетной стороне: расставлены фонари были в шахматном порядке.

Вот он у очередного столба. Лесенка брошена крючьями на перекаладину, человек взлетает на ее ступеньки. Хрупкая дверка откинута, стекло привычным жестом снято... Спичка... Ветер – спичка гаснет, но это бывает редко. Каждый жест на счету, на счету и коробки со спичками. Огонь загорелся, стекло надето, дверца захлопнута... Две, три ступеньки. Лестница на плече, и – по хрустящему, размолотому тяжкими полозьями ломовых извозчиков, перемешанному с конским навозом снегу, по диагонали – к следующему столбу...

Каждый раз, когда я сворачивал на Нюстадтскую, я там, за переулком, видел ее продолжение, убегающее куда-то в безмерную даль, за Нейшлотский, за переулки. Там, по моим тогдашним представлениям, был как бы предел жилого мира. Там, по всему этому неоглядному протяжению, несся фонарщик, оставляя за собой цепочку слабых, боязливых, робко борющихся с ветром, дождем и тьмою огоньков. Но я останавливался.

Передо мной разворачивалась страница из задачника: "Фонарщик, перебегая зигзагом через улицу от фонаря к фонарю, зажигает их. За сколько времени успеет он осветить всю улицу, если длина улицы пятьсот семьдесят сажен, ширина двадцать сажен, расстояние между фонарными столбами сорок сажен, а на пробег от фонаря до фонаря..."

Я смотрел, и, мне казалось, что такие задачи явно не разрешимы. Как можно их решать, не зная, весел этот фонарщик или печален (я знал одного, который даже пел и с лестницей на плече, и там, на вершине столба, вычиркивая спички); есть ли у него дети или нет; где он живет и зачем ему каждый день надо бегать по таким вот нескончаемым, уходящим в черную даль улицам?..

Впрочем, вполне возможно, что эти мои впечатления относятся уже не к тем фонарям, какие я описал, а к другим, их великолепным наследникам.

На исходе первого десятилетия XX века, летом, когда меня не было в городе, старые простенькие столбы вырыли, металлические "скворечники" свезли в переплавку или на свалку, и на моей Нюстадтской осенью меня встретили незнакомцы.

Эти фонари были вдвое выше тех. На вершине деревянного столба, выше него, поднимался у них длинный, изогнутый плавным завитком кронштейн с блоком. Через блок был перекинут стальной трос, и, крутя рукоятку особого ключа, входящего в паз коробки, подвешенной на столбе внизу, фонарщик теперь спускал оттуда с высоты необыкновенное чудо техники – новый фонарь, керосинокалильный.

Это было сложное сооружение. Оцинкованный цилиндр больше метра в высоту увенчивался полый металлической баранкой – резервуаром для керосина. По трубкам горячее поступало в горелку в низу цилиндра, внутри откидывающегося в сторону стеклянного литого полушария. Над горелкой, на специальном крючке, подвешивался легкий, как из инея сотканный, кисейный, но пропитанный каким-то несгораемым составом белый колпачок, похожий на большой марлевый напалечник. Зажженная горелка раскаляла постепенно этот колпачок – он начинал желтеть, потом голубеть и вдруг вспыхивал ослепительно белым накалом...

Тогда, со скрипом, фонарщик поднимал махину фонаря – здоровенную дылду, почти в мой тогдашний рост, – вверх, бросал на панель бурые остатки колпачка, сгоревшего вчерашней ночью, и картонную трубочку от нового и после этого пускался, как и раньше, рысцой, наискось через булыжную мостовую, к следующему светильнику.

Теперь улица была освещена несравненно ярче. Висящие на своих кронштейнах груши этих фонарей раскачивал ветер; длинные тени металась по стенам квашнинского, крестинского, подобедовского шестиэтажных домов, и нам, жившим тогда в этих домах, уже казалось, что наступил век совершенного торжества осветительной техники. Что же дальше? Чего же еще желать для Выборгской стороны? И даже "конец мира" как-то удалился от в этом керосинокалильном свете. Мир расширился.

Цепь белых ламп виднелась теперь далеко за Нейшлотским, пожалуй, чуть ли не до самого Флюгова переулка... Но если вы вообразите себе этот наш тогдашний свет, он покажется вам современной уличной тьмой. Электрического-то освещения тогда на Выборгской еще не было; не только окна нижних квартир, но даже "витрины" – а точнее, такие же окна – редких лавок сквозь морозные узоры на стеклах бросали на тротуар мутно-желтый свет, и только кое-где – ну скажем, в трактире Ивана Мартыныча Тупицына в деревянном доме на углу, да в его же "мясной, зеленой и курятной" лавке напротив – в серединах плотно замороженных окон, сквозь протаянные их жарким дыханием круги, освещали улицу такие же керосинокалильные лампы или новомодные многолинейные лампы "молния".

Впрочем, то, что я только что сказал, относилось к улицам если и не совсем уж захоластным, то даже и для окраин второразрядным (на самых глухих до семнадцатого года нераздельно властвовал простой керосиновый фонаришко).

На улицах средней руки – ну скажем, на набережных Невы – уже тогда светили совсем иной силы и устройства светильники, никому из нас теперь неизвестные, – газовые фонари. Внешний вид их был почти точно скопирован с самых старых фонарей города. Столб, правда, был теперь не деревянный, а ребристый чугунный, с незатейливыми украшениями. Но на нем был укреплен почти такой же, как бывало, состоящий из двух стеклянных пирамид, домик. Нижняя пирамида, усеченная, была меньшим основанием обращена вниз. Верхняя, глухая, накрывала ее острой крышкой.

Издали его было проще простого принять за старого знакомца, но то была уже новая техника – газ.

Газовый свет в городе был разный. В помещениях вы просто поворачивали кранчик, как на газовой плитке наших дней, поднеся спичку к горелке. Над ней вспыхивало широкое, плоское, фестончатое пламя, похожее на засушенный между страницами книги тюльпан. Оно горело и освещало. В театрах, в цирках из множества таких тюльпанчиков собирали даже целые люстры; правда они давали куда больше тепла, чем света, но вспомним, как восхищался ими Золя в своих романах или Гончаров при описании Лондона.

Уличные газовые фонари были в мое время уже газокалильными. В них зеленовато-белым (белым с празеленью) светом сияли такие же, как в керосинокалильных лампах, "ауэровские колпачки". И их своеобразный свет, отражавшийся в черных водах осенней или весенней Невы, в ее полыньях, в лужах талой воды на поверхности неоглядных ледяных полей, не спутал бы ни с каким другим светом ни один мой ровесник. Только где увидишь их теперь?

В стихах и пьесах Блока горят и качаются питерские фонари всех рангов. Там, где "ночь, улица, фонарь, аптека", – там, конечно, окруженный радужным ореолом, светит сквозь приморский густой туман покосившийся провинциальный фонарь самого начала девятисотых годов, почти ничем не отличающийся от того городского масляного фонаря, который "умирал в одной из дальних линий Васильевского острова" почти столетием раньше, в одном из незаконченных набросков Гоголя.

Но у того же Блока пылают злым светом и центральные улицы города, где взвихренны толпы людей двигаются в каком-то сумасшедшем хороводе "в кабаках, в переулках, в извивах, в электрическом сне наяву". Блоковский мягкий петербургский снег, крупными хлопьями таинственно ложащийся на женские вуалетки, то лиловатый, то голубой, падал, конечно, в лучах газовых или электрических фонарей, гудящих вольтовыми дугами, по-пчелиному жужжащих на тогдашнем Невском, на, над проносающимися санками с медвежьими полостями, над треуголками лицеистов и пажей, над накрашенными лицами куртизанок...

Уже тогда, в раннем моем детстве, в десятых годах века, был в городе и электрический свет. Эти фонари были очень разными: вокруг Таврического сада, вдоль Потемкинской, вдоль Таврической, вдоль Тверской

свет давали невысокие простые светильники на столбах из гнутых железных труб: над яблоками их ламп были укреплены плоские белые тарелки отражателей.

Тут же рядом, на Малой Итальянской, на Греческом, высились высоченные фонари-столбы, напоминавшие Эйфелеву башню в миниатюре. Они несли на себе огромные призматические стеклянные коробки, и какое именно устройство пылало в этих коробках – не могу уж сейчас сказать точно. В ранней юности кто-то уверял меня, что эти мощные решетчатые конструкции остались тут от тех времен, когда они поддерживали на своих вершинах еще первые свечи Яблочкова, как в Париже. Так это или не так, судить не берусь, но эти "башни", с сильными источниками электрического света наверху, доторжествовали в тех улицах чуть ли не до самой Революции.

А главные улицы связываются в воспоминании с совершенно другими фонарями. У них были очень высокие столбы, такие же, как у нынешних наших: стройные, сваренные из труб разного поперечника. Только наши оканчиваются прямым перекрестьем, поддерживающим тройчатку светящихся шаров, а те заканчивались улиткообразно закрученным подвесом, с которого спускалось большое сияющее яйцо молочного стекла, охваченное тонкой проволочной сеткой. Внутри столба заключалось подъемное устройство. Каждое утро фонащик (он был еще жив, курилка!) опускал маленькой внутренней лебедкой это яйцо почти до земли, вынимал из зажимов внутри него и бросал тут же на тротуар обгоревшие (один – конусом, другой – воронкой, кратером, как в учебниках физики) угли, в виде крепко спрессованных палочек толщиной в палец взрослого мужчины, и вставлял новые. И каждый раз вокруг него толпились мальчишки, кидаясь, как коршуны, на эти огарыши. Зачем они были им нужны, не скажу даже по догадке, хотя ведь и сам постоянно и подолгу носил, как Том Сойер, в карманах, хранил в углах парты матово-глянцевые, похожие на металл, угольные цилиндрики...

Вечером эти фонари загорались уже без фонащика, все сразу по всему Невскому и по Большой Морской; сначала в них что-то начинало потрескивать, слегка посверкивать. Потом молочно-белые яйца становились слегка лиловатыми, и сверху на головы проходящих начинало литься вместе с чуть-чуть сиреневым, трепещущим светом задумчивое, на что-то намекающее пчелиное жужжание.

В этом жужжании, в этом полупризрачном свете и являлись поэтам того времени их Незнакомки и Прекрасные Дамы, лукавые, неверные, двусмысленные фантомы предсмертных годов того мира! В этом жужжанье и падал тихо на панели, на мостовые, на медвежьи полости, на собольи палантины, на синие сетки лихачей, на крыши неуклюжих тогдашних "моторов" – автомобилей – мягкий, пушистый, убаюкивающий снег.

Ах, фонарики, фонарики Петербурга!

Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская... *(Русская народная песня)*

Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская,
Степь Моздокская!
Широко ли, далеко, степь, ты протянулася,
Протянулася,
От Саратова ты, степь, до села Царицына,
До Царицына;
Пролежала по степи большая дороженька,
Дорожка широкая...
Проезжали по ней молоды извозчики,
Молоденькие;
Как лошадки у них буланые, Все буланые,
Хомуты-то у них серебряны,
Серебряны;
Как узды-то у них все наборные,
Все наборные;
Как тележки-то у них все шиповные,
Все шиповные...

Солучилоя у них несчастьице,
Да немалое.
Захворал да занемог у них добрый молодец,
Млад извозничек...
Он просил-то, он просил своих товарищей,
Товарищей:

«Ах вы, братцы вы мои, вы друзья-товарищи,
Товарищи!
Не покиньте вы, братцы, моих вороных коней,
Вороных коней.
А свезите вы, братцы, батюшке низкий поклон,

Низкий поклон,
Родной матушке челобитьице,
Да челобитьице,
Малым детушкам мое благословеньице,
Благословеньице
Молодой моей жене полну волюшку,
Все свободушку».

Иван Суриков. В степи

Кони мчат-несут.
Степь всё вдаль бежит;
Вьюга снежная
На степи гудит.

Снег да снег кругом;
Сердце грусть берёт;
Про моздокскую
Степь ямщик поёт...

Как простор степной
Широко-велик;
Как в степи глухой
Умирал ямщик;

Как в последний свой
Передсмертный час
Он товарищу
Отдавал приказ:

«Вижу, смерть меня
Здесь, в степи, сразит, —
Не попомни, друг,
Злых моих обид.

Злых моих обид
Да и глупостей,
Неразумных слов,
Прежней грубости.

Схорони меня
Здесь, в степи глухой;
Вороных коней
Отведи домой.

Отведи домой,
Сдай их бабушке;
Отнеси поклон
Старой матушке.

Молодой жене
Ты скажи, друг мой,
Чтоб меня она
Не ждала домой...

Кстати, ей ещё
Не забудь сказать:
Тяжело вдовой
Мне её кидать!

Передай словцо
Ей прощальное
И отдай кольцо
Обручальное.

Пусть о мне она
Не печалится;
С тем, кто по сердцу,
Обвенчается!»

Замолчал ямщик,
Слеза катится...
Да в степи глухой
Вьюга плачется.

Голосит она,
В степи стон стоит,
Та же песня в ней
Ямщика звучит:

«Как простор степной
Широко-велик;
Как в степи глухой
Умирал ямщик».

Петр Вяземский. Степь

Бесконечная Россия
Словно вечность на земле!
Едешь, едешь, едешь, едешь,
Дни и версты нипочем!
Тонут время и пространство
В необъятности твоей.

Степь широко на просторе
Поперек и вдоль лежит,

Словно огненное море
Зноем пышет и палит.

Цепенеет воздух сжатый,
Не пахнет на душный день
С неба ветерок крылатый,
Ни прохладной тучки тень.

Небеса, как купол медный,
Раскалились. Степь гола;
Кое-где пред хатой бедной
Сохнет бедная ветла.

С кровли аист долгоногой
Смотрит, верный домосед;
Добрый друг семьи убогой,
Он хранит ее от бед.

Шагом, с важностью спокойной
Тащут тяжести волы;
Пыль метет метелью знойной,
Вьюгой огненной золы.

Как разбитые палатки
На распутии племен —
Вот курганы, вот загадки
Неразгаданных времен.

Пусто всё, однообразно,
Словно замер жизни дух;
Мысль и чувство дремлют праздно,
Голодают взор и слух.

Грустно! Но ты грусти этой
Не порочь и не злословь:
От нее в душе согретой
Свято теплится любовь.

Степи голые, немые,
Всё же вам и песнь, и честь!
Всё вы — матушка-Россия,
Какова она ни есть!

Антон Чехов. Степь (Фрагмент)

Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается... Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу. Сначала, далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись сзади,

шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутьму, улыбнулась и засверкала росой.

Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля — всё, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росой и обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую, монотонную музыку.

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски...

Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит всё одно и то же — небо, равнину, холмы... Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной.

Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница...

Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и — опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи...

Но вот, слава богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка. Сонная, изморенная зноем, поднимает она голову и смотрит на встречных. Дениска зазевался на нее, гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру о. Христофора.

— На людей едешь, пухлая! — кричит Дениска. — Ишь, рожу-то раскорячило, словно шмель укусил!

Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится... А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь — бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное — всю жизнь один, один... За тополем ярко-желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят... Шесть косарей стоят радом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт, все вместе издают звук: «Вжжи, вжжи!» По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно с намерением залаять, но останавливается на полдороге и равнодушно смотрит на Дениску, грозящего ей кнутом: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачовую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился, или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед...

Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница и всё еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее и кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брички.

Константин Бальмонт. Первый Спас

Яблоки, орехи, мед,

Это — первый Спас.

Сколько сладости течет,

Сколько свежих нежных вод,

Сколько ядер лег даст,—

Все для нас.

Яблонь белая, в цвету,
Усладила пчел
Сколько пении налету,
Сколько блесков, не сочту,
Мир весною в Красоту
Весь вошел.

Если ж Осень подошла,
Кончен путь Весны,
Радость первая светла.
Лето – жарче Страсть пришла.
Виден весь узор узла.
Дышат сны.

Зреет все Осенний час.
Яблоко – плод живой.
Прежде всех пленил он нас,
Ядра с ним – в числе прикрас,
Мед. Как сладок первый Спас,
И второй.

Евгений Евтушенко «Само упало яблоко с небес...»

Само упало яблоко с небес,
или в траву его подбросил бес?

А может, ангел сбил крылом с ветвей,
или столкнул руладой соловей?

Ударился о землю нежный бок
и брызнул из него шипящий сок.

Прося меня: «Скорее подбери...» —
чуть зазвенели зернышки внутри.

Светясь, лежало яблоко в росе
и не хотело быть оно, как все,
и отдыхало телом и душой,
как малая планета на большой.

А в трещину его, ничуть не зла,
оса так вождедеюще вползла,
и, яблоко качая на весу,
с ним вместе внес я в комнату осу.

И, вылетев из яблока, оса
на разные запела голоса,
как будто золотинка жизни той,
где жало неразлучно с красотой.

Но чем больше времени укус,
тем вечность обольстительней на вкус.

Белла Ахмадулина. Ночь упаданья яблок

Уж август в половине. По откосам
по вечерам гуляют полушалки.
Пришла пора высокородным осам
навязываться кухням в приживалки.

Как женщины глядят в судьбу варенья:
лениво-зорко, неусыпно-слепо —
гляжу в окно, где обитает время
под видом истекающего лета.

Лишь этот образ осам для пирушки
пожаловал – кто не варил повидла.
Здесь закипает варево покруче:
живьём съедает и глядит невинно.

Со мной такого лета не бывало.
– Да и не будет! – слышу уверенье.
И вздрагиваю: яблоко упало,
на «НЕ» – извне поставив ударенье.

Жить припустилось вспугнутое сердце,
жаль бедного: так бьётся кропотливо.
Неужто впрямь небытия соседство,
словно соседка глупая, болтливо?

Нет, это – август, упаданье яблок.
Я просто не узнала то, что слышу.
В сердцах, что собеседник непонятлив,
неоспоримо грохнуло о крышу.

Быть по сему. Чем кратче, тем дороже.
Так я сижу в ночь упаданья яблок.
Грызая и попирая плодородье,
жизнь милая идёт домой с гулянок.

Евгений Носов. Яблочный Спас (В сокращении)

Утро клубилось молодыми августовскими туманами, еще легкими, не виснувшими на кустах и травах, а кисейно парящими поверх изб и свежих сенных стогов, полня собой все остальное небесное пространство,

уже степенное незримым солнцем, отчего казалось, будто перезвоны какого-то большого праздника сами по себе зарождались в мгlistом таинстве встающего погожего дня.

Под этот благовест, то отдаленный, приглушенный туманом, то явственный, со всеми подробностями ликующих подголосков, было мне ново, необычно и радостно колесить в моей старенькой «Ниве» по прежде безмолвной округе, сопричастно глядя на русые скошенные поля в блестках оброченной соломы, на шумные выводки грачей, облепивших свежие наметы, на забагряневшие верхи степных яруг, опоясанных синеющими ягодами терновника. А пуще гляделось на табунки изнова заведшихся молодых коней — сытых, ладно округлившись крупами, закосматевших долгими русалочьими гривами, с диковатым поглядом темных сливовых глаз, дурашливых от всей этой справы и вольницы, гораздых незлобиво куснуть, вскинуться на дыбки друг перед дружкой и огласить пажити забытым ликующим кликом, отдающим дальней запредельной Русью.

В Малых Ухналях, в попутном сельце по дороге на Ливны, колокол, вновь отлитый, едва поболее шапки, бойко, истово названивал прямо промеж свежошкуренных столбов, заменявших звонницу. Долгий, хлыстоватый малый с подвязанным хвостиком волос на затылке, должно, пребывавший в послухе, со строгим, озабоченным лицом дергал за веревку, но поскольку колокол был один, без своих разноголосых собратьев, то из него ничего нельзя было выколотить, кроме однообразного частозвона, тем не менее привлечшего немало народа. Тут же из муравы высился сварной, обшитый жостью куполок с кованым ажурным перекрестием, которому после очистки от ржавчины и покраски порошковой бронзой надлежало стать православным крестом. Однако проходившие мимо старушки готовно крестились на эту незавершенную конструкцию, не дожидаясь, пока ее доведут до ума, покрасят и возведут на церковную кровлю. Сам же храм — обезглавленный, изрядно обветшалый, с порослью березок по карнизу, хранивший прежде бумажные кули с химикатами, побелочный мел и негашеную известь, ныне пребывав в лесах, весь в цементных помазках и пластырях и, как всякий больной, безучастно и равнодушно глядел сквозь поржавевшие решетки на узких незастекленных оконцах, так что приходской священник отправлял свою службу прямо на паперти, возле кем-то принесенного стула, застланного черным цветастым платком. К спинке стула была прислонена икона с образом Спаса, строго взиравшего из фольгового оклада. Перед иконой на подносе горело десятка полтора разновеликих свечек, трепетавших на открытом воздухе долгими заострившимися язычками огней и слезно ронявших к обножью капли горячего полупрозрачного воска.

Между тем люди всё подваливали, протискивались к священнику, разверстали перед ним авоськи и узелки с яблоками, и молодой раскрасневшийся иерей в праздничной парчовой фелони и свежей камилавке макал вересковый венчик в детское голубое ведро и вдохновенно, с видимым удовольствием, хлестко окроплял плоды, а заодно и самих соискателей благодати, подставляя затем запястье для поцелуя.

На роившемся пустыре тоже пахло яблоками, но не легкими дуновениями, как в открытом поле, а густо, настоянно, будто из большого закрома, в который ссыпали плоды со всех деревень. Яблоки округло, золотисто выпирали и выглядывали почти из каждой шитой и плетеной емкости в руках, и каждая поклажа сочилась своим собственным ароматом анисовки, свечовки, крапчатки, всяких новых штрифелей и бельфлёров, которые все вместе и создавали этот пряный праздничный настой.

По небывалому многообразию яблок, радовавших ребятишек, шкодливо пулявших друг в друга кусками, по тому, как востроумный мужичонка в новой, глыбисто измятой рубахе сипло выкрикивал, не договаривая слов, какие-то куплеты, пытаясь обнять и облобызывать всякого встречного, а также по тому, как приходской священник исполнял свое необременительное действие, оставлявшее впечатление, будто от взмаха его мокрого веника и рождалось это румяное и ароматное изобилие, грех было не догадаться, что в Малых Ухналях, как и во всей святой Руси, начался Яблочный Спас.

Неподалеку, под старыми церковными липами, расположился яблочный базарчик. Десятка два женщин восседало рядком перед наполненными ведрами. Торговля была рассчитана в основном на приезжих, поскольку этого добра местному жителю не надобно и задаром.

Я тоже прошелся вдоль рядка, приглядываясь к веселому, бодрящему товару, при одном виде которого молодеет и радуется душа.

Яблоки и в самом деле были на загляденье: свежи, румяны, подернуты первозданной матовостью осевшего туманца и вообще веяли отменным здоровьем хорошо вызревших плодов. Да и сами женщины, по-праздничному добродушные, гораздые погломонить, оживленно встречали заглянувшего к ним человека и наперебой расхваливали свою продажу бодрими возгласами: «Кому ранней антоновки? Ранней антоновки кому?» или: «Вот анисовка! Только что с ветки! Нигде такой нет, кроме наших Ухналей!»

Неспешно проходя сквозь эти веселые зазыванья, в конце концов я минул весь рядок и оказался перед самым крайним ведром, замыкавшим торговлю. Перед ним на стопке красных кирпичей молча сидела маленькая щупленькая бабулька. На ней был серый прорезиненный плащик, укрывавший ее заостренную, как бы двускатную спину от капели, время от времени падавшей из затуманенных вершин старых деревьев. Насунутый серый козий платок застил ее лицо, оставляя видимыми лишь кончик острого носа и жесткий, будто из пемзы, серый подбородок, поросший сизыми завитками грубых волос. Всей этой серостью,

угловатостью и отрешенной недвижимостью она напоминала мне болотную птицу выпь, терпеливо поджидавшую свою случайную поживу.

— Баба Пуля! — окликнула ее соседка. — Слышь, баба Пуля! К тебе кавалер!

— Продаешь? — спросил я с не покидавшей меня веселостью.

В ответ она извлекла из-под полы мелко дрожащую от старческого тика ладошку и зачем-то переставила на ведерке самое верхнее яблоко красным боком ко мне.

Кроме этого главного яблока, крупного и румяного, видно, исполнявшего роль рекламы, остальные были так себе: выглядели вяловато, даже чуть приморщенно, на иных бурели пятнышки червоточин. Было очевидно, что яблоки вовсе не с ветки и подобраны с земли, где пролежали невесть сколько времени.

Никто не неволил меня покупать именно эти яблоки, рядом продавалось много свежих и крепких плодов. Но, глядя на ее держащуюся за край ведерка дрожащую руку, обтянутую сухой, ломкой кожей, со вздутыми сизыми прожилками и узловатыми косточками пальцев, похожими на мелкие нитяные катушки, я решил, что сперва куплю у нее, и твердо спросил:

— Почему?

Старушка было открыла сморщенный, измятый рот, готовясь ответить, но слово мое было слишком коротко, так что она, кажется, не успела понять вопроса.

— Вы ей погромче, — подсказала соседка. — Колокол звякает, не слышно ей.

Я напряг голос и спросил попросторней:

— Хочу, мать, купить твои яблоки. Почему продаешь?

— Продам, продам... — закивала она, оттопыривая платок над ухом.

— И почему же? Что, говорю, просишь за ведерко?

— А-а, что просить-то... Сколь дашь, милай.

— Надо ведь знать, что давать.

Разумеется, цена для меня не имела значения и я спрашивал о ней только затем, чтобы дать старушке, кроме денег, еще и некое удовлетворение от ее убогой торговельки.

— На свечку дашь, дак и на том — спаси тя Господь, — положила она цену.

— Что так мало?

— Будя... Душа малостью живет, у нее своя пища.

— Свечку я тебе и за так куплю, — сказал я с веселой щедростью. — А, поди, душа не только свечек, но и хлеба просит?

— Ну, ежели мать свою помнишь, добавь и на хлебушко. — Она заглянула мне в глаза, и ее измятое временем лицо степлилось слабой улыбкой. — Уж и не знаю, каких они сортов, а яблоки хорошие, не кислые. Возьми попробуй.

— Вон, вишь, дом на краю починка?

— Куда глядеть — направо или налево? — не понял я.

— Налево который.

— А который налево — он без крыши...

— Ну да, ну да... — закивала Лукьяновна. — Он самый.

— И окна пустые, без рам... Нежилой, что ли?

— Как это нежилой? — обернулась Лукьяновна. — Я в ём и живу.

— Он что, горел, поди: бревна черные?

— Я вот и рассказываю... — Она снова повернулась на ведерке, будто на винтовом сиденье. — Ну, милай, живу я в этом доме, годки бегут... Схоронила матушку, одна осталась... Вот те, приезжает дочь Сима. Она тади в Хрустальном Гусе жила, работала главным булгактером. Отворяет дверь и еще с чемоданом в руке сразу в слезы: «Мама, пропадаю, выручай!» — «Что такое?» — «Сильно я растратилась, большой за мной недочет. Вот приехала, спасай чем можешь. А не то — десять лет мне дадут». — «Да чем же я тебя спасу, говорю я ей, шутки, что ли?» — «Ой, да какие шутки, какие шутки? Я дома уже все продала, что можно, и все

равно не хватает». — «Да я-то что продам — ничего нетути». А она мне: «Давай, мама, продадим часть дома. Ты себе кухню с печкой оставь, тебе главное, чтоб печка, а на остальное покупателей поищем...» Жалко мне дочку стало: а ну и вправду посадят, да и продала я две чистых комнаты проезжим цыганам. Как раз зима надвигалась, они хорошие деньги дали.

Все получилось удачно. Сима уехала в Гусь расплачиваться, а днями вот они — новые хозяева в двух кибитках. Сколь их понаехало, аж в глазах рябко... Мал мала меньше, и все босые да чернявые, как таракашки. Кто чугулки волокет, кто подушки. Тут же из окна сделали себе отдельную дверь, а в другое окно вывели трубу от буржуйки. Всю неделю праздновали новоселье, одни приезжали, другие уезжали... За стенкой дни и ночи бил барабан, бубны звякали, стекла в окне дребезжали. Одна просыпаюсь — чтой-то дымом пахнет? Я бы и ничего, да прежняя моя кошка вот как забегала — то под кровать, то на печку, места не находит. Выбежала я на улицу, гляжу, цыгане тоже повыскакивали, галдят, руками машут, а из их окон красные петухи выпрыгивают... Хорошо, добрые люди в пожарку сообщили. У нас, в Ухналях, прежде своя пожарная машина была. Машина-то была, а моста уже не было. Пока кругалём объезжали, уже и крыша занялась. Так что от всего дома одна моя каморка и осталась. Успели отбить ее от огня.

— А что же цыгане?

— И-и, милай! Запрягли лошадей — и с концами!

— И что, разве дом уже нельзя поправить?

— Да где же я возьму столько капитала?! — Лукьяновна в сердцах опять насунула на голову платок и, кряхтя, упершись руками в колени, тяжело поднялась со своей сизи. — Это ж сколь надоть денег-то? Крышу покрыть, стены от горелого образить, да полы с потолками, а еще рамы на окна... Теперь гвозди небось сто рублей штука, а у меня пенсия с гулькин носок, да и ту не всяк месяц дают...

— Да-а... Ну а власть? Разве ее не коробит пожарище? Должна бы помочь...

— Какая власть, мила-ай! — Лукьяновна воздела кверху пустое ведро. — Теперь в Ухналях нетути никакой власти. На том месте замок повешен. Уж и поржавел, поди...

Она побрела на узвлок едва приметной тропкой, валко раскачиваясь при каждом переступе шлепанцев. Я пошел следом, все еще прикидывая всякие ходы что-либо сделать.

— Ну хорошо, а дочь? — сказал я громко и убежденно. — Разве она не обещала помочь? Было бы справедливо... Ведь ты же ей помогла?

— Ничего я не помогла. Все было впустую. И дом извела зазря, и деньги цыганские суда не упредили, — задышливо отозвалась Лукьяновна. — А теперь и самой Серафимы нету...

Дом пострадал больше всего с фасада, будто обгорело его лицо. На выселковую улицу, на луг и речку, на все Ухнали из обугленного ребрастого сруба пусто глядели проемы окон, сквозь которые виделась поросль молодых кленов и безоблачная синева.

Замок наконец открылся, и я вслед за Лукьяновной машинально вошел в жилье, на большей части которого располагалась обширная печь прежних времен, занавешенная посконою. Оставшегося места хватаю лишь на топчан, сундук и двустворчатый стол у оконца. Единственную табуретку приткнуть уже не было куда, и она неприкаянно обитала на середине келейки. Поверху же, на уровне глаз, разместились: над сундуком — подвесной посудничек, в углу, за лампадкой, темная иконка Смоленской Одигитрии, а над топчаном, в общей раме за стеклом — с десяток разновеликих фотографий. Все здесь впору лишь для одного человека, другой был бы уже лишним. Таковым и почувствовал я себя, когда присел на предложенную табуретку, сразу заняв все кубы и квадратные метры.

Тем временем Лукьяновна сняла плащ, размотала платок, повесила одежду у двери на гвоздик и осталась в каком-то казенного вида сером халате, кои нашивали уборщицы, разнорабочие и прочие подсобники, отчего стала похожей уже не на выпь, а на какую-то еще меньшую серенькую птаху, привыкшую к тесноте своей клетки, наперстку воды и щепотке проса.

Еще раз оглядев каморку и набредя взглядом на рамку с фотографиями, я поинтересовался, есть ли она на этих снимках.

— Я-то теперь не вижу, кто где... Гляди сам... Мы там трое на карточке.

— Здесь втроем только какие-то военные...

— Ну, дак это и есть мы... Я с подружками.

— Ты разве и на фронте побывала? — изумился я.

— Была, была я, милай, а то как же... Была-а.

Я приблизился лицом к давней пожелтевшей открытке: в самом деле, это были три девушки, которых я сперва принял за парней. Все трое — коротко подстриженные, в сдвинутых на висок пилотках, просторные воротники гимнастеров обнимали тонкие подростковые шеи.

— И которая из них ты? — спросил я, не узнавая молодую Лукьяновну.

— А вот гляди: справа — Зина Крохина, слева — Хабиба... забыла фамилию... а промеж ими — я, востроносая...

— А тебя-то как звать? Я слышал, женщины тебя бабой Пулей окликали. Это что — имя такое?

— Да не-е... — отмахнулась Лукьяновна, будто отстранила ненужное. — Не Пуля я... Меня в девках Дусей звали... Евдокией, стало быть. А Пуля — это по-уличному. Ежели пойду куда, а меня — Пуля да Пуля... Правильно уж и не зовут... Небось забыли, что я по крещению-то Евдокия. Дак я и сама иногда забываю, кто я. На Пулю здравкаюсь... Это ребятишки, охальники, такое прозвище прилепили, да и пошло...

— Что так?

Лукьяновна сидела на краю топчана, расслабленно опустив руки на колени. Ее правая кисть мелко подрагивала, и она бережно, как ушибленную, оглаживала ее левой ладонью.

— Ить я на фронте снайперкой была... — сказала она, глядя на свои руки.

— Снайпером?! Да ну! — изумился я такой неожиданности. — И как же так получилось?

— Да вот так и получилось... Я девкой и ружья-то близко не видела, не то чтоб стрелять... А тут собралась учиться. Спроворила торбочку, попрощалась с Ухналями, с отцом-матерью и укатила в Тамбов. Там тади был техникум работников пищеблока. Подала учиться на повара. Проучилась я девять месяцев, вот тебе война. Ученье наше порушилось, годных учителей позабирали, практику отменили... Говорили, всех на окопы повезут. А немец уж от Москвы близко. Тут приехал какой-то дядька. Собрали нас, а он и спрашивает, кто из девушек хочет на радистку учиться? Сичас, говорит, очень радистки нужны. Многие стали записываться, ну и я с ними. Отобрал он двадцать человек, с каждой в отдельной комнате поговорил, про отца-мать расспрашивал, про членов Политбюро... Выдали нам хлеба с консервами, повезли аж в Казань. Там поместили в каком-то пустом складе, оконца под потолком. День сидим, другой — никто ничего. А потом приходит тот дядька и говорит, что радисток уже набрали, больше не требуются, а нас направят учиться на снайперок... Ну, остригли нас коротко, сводили в баню, дали все военное. Сперва винтовку разбирали, учили залезать на дерево, ползать по-пластунски, чтоб ни одна ветка не хрустнула. Потом стали по бумажным фашистам стрелять. Я сперва сильно мазала: больно винтовка тяжелая. А которые хорошо попадали, те свои мишени на память берегли, чтоб потом домой переслать. А на ту карточку мы снялись перед самой отправкой. Зина Крохина, я и Хабиба... Я — которая посередке, востроносенькая. Ну, дак совсем сыроежки зеленые... Крохину вскорости на позиции убило, и месяца не пробыла. А с Хабибой — вот не вспомню фамилию — вместе аж до Лук дошли. А уже там она пропала без вести. Пошла на свою снайперскую скрадку и не вернулась. Мне тоже досталось.

Лукьяновна крюковатыми пальцами отгребла с левой стороны клоки пожелтелой седины и повернулась ко мне виском:

— Во, вишь?

Под откинутой прядью я с содроганием увидел багровые лохмотья уха.

— Это меня ихний снайпер. Промахнулся малость. Далековато было...

— И в каких же местах тебя ранило? — спросил я, чтобы отвести разговор от неприятной темы ее семейного неурядиства. На каком фронте?

— А всё под Луками... А какой фронт, уж и не упомню. Многое из головы повыдуло. Где была, по каким местам на брюхе ползала... Тади, как ухо мне отшибло, всего-то и поошивалась я в санчасти недели две. Печки топил, старые бинты стирала, картошку чистила, пока ухо не засохло шкварками, да и опять — за винтовку. Взводный смеется: «Ты, Дуська, хоть в бинтах не высовывайся, намотай сверху обмотку, она зеленая, не так заметна. А то прошлый раз немец дуру дал, а теперь аккурат под бинты вмажет».

— Ну, а сама-то много нащелкала?

— Немцев-то? А леший их знает...

— Ты что же, счет не вела?

— А-а... — привычно отмахнулась Лукьяновна.

— Ну как же... Говорят, многие снайпера на прикладе зарубки делали. Кокнул немца — чик ножичком, кокнул другого — еще раз чикнул.

— Пустое! — поморщилась Лукьяновна. — То все газеты брехали. Откудова знать, попала пуля или промазала? Это тебе не в тире: не пойдешь потом проверять.

Муторно на душе, липко как-то. Ешь — кусок дерет, от людей воротит... Наверно, бабу нельзя этому обучать. Ее нутро не принимает, чтой-то в ней обламывается. ... Иная, может, потом отойдет, а у которой душа так и останется комком...

— Что ж, Евдокия Лукьяновна, до логова удалось ли дойти? — спросил я, снова принимаясь разглядывать ее военную фотографию.

— Чего говоришь?

— В Германии, говорю, удалось побывать?

— А-а, в Германии... Не, милай, этого не пришлось.

— Что так?

— Да была причина. Не сдюжала я... Дошла токмо до Литвы не то до Латвии, никак не запомню, которая из них. Помню разве городок, где стояли.

Поместили меня в лазарет, а там и открылось, что я третий месяц в положении...

Поймав мой недоуменный взгляд, Лукьяновна неожиданно повысила голос, запричётывала с укоризной:

— Чего глядишь так-то? Что было, то и говорю. Девке трудно сохраниться на войне. Всяк вокруг тебя трется.

Отмахивалась, отмахивалась, да и выбрала себе охранщика, чтоб хоть остальные б не липли. А мово охранщика взяло да и убило тем же летом под Опочкой. И убило-то нехорошо — бомбой, прямым попаданием. Токмо сапог от него нашла. Выковырнула оторванную ногу, схоронила в утайке, а сапог отмыла и себе взяла на память. Такие вот окопные переглядки...

— Да я ничего,— смутился я таким поворотом нашей беседы.— Это тебе, Евдокия Лукьяновна, показалось, будто я чего-то...

— Ну, доскажу уж...— Лукьяновна умиротворенно погладила кота.— Оклемалась я в лазарете, выписали мне литер, дали два куска мыла, пять пачек перловки, запихнула все в вещмешок, туда же положила тот его сапог и покатила в свои Ухнали Симку донашивать, сама будто подстреленная... А, да ладно про то... Чего уж: жизнь миновала... А сапог я и доси берегу, там вон, в сундуке. Достану когда, поплачу, поразговариваю...

Натрусить рюкзак яблок большой сноровки не надобно. Через каких-то полчаса я уже попрощался с Лукьяновной.

Шел вниз и оглядывался: что-то мешало ровному ходу...

Перед мостком я еще раз оглянулся.

От переправы к каждому заречному двору по узволоку вела своя тропа — белесая лента по кудрявой мураве. Какая — пошире, а какая — поуже. Смотри, сколько людей по ней ежедень хаживало. Поискал я и тропу Евдокии Лукьяновны, но на зеленом сукне косогора виднелись одни только редкие стежки... Сама же баба Пуля все еще стояла возле своей опаленной избы, держа на руках черно-белого кота, ближайшего родственника, имя которого я не сподобился спросить.

А над речкой, над ее притененными водами, опять мелькала ярко-желтая бабочка — наверняка другая, но мне казалось, будто она все еще та, утренняя, потерявшая что-то в поречных ивнях...

Или она сама чья-то потерявшаяся душа...

Андрей Платонов. На заре туманной юности (Главы из рассказа)

Родители ее умерли от тифа в гражданскую войну в одну ночь. Ольге тогда было четырнадцать от роду, и она осталась одна, без родных и без помощи, в маленьком поселке при железнодорожной станции, где отец ее работал составителем поездов. После того как отца и мать помогли похоронить соседи и знакомые, девочка жила еще несколько дней в пустой, выморочной квартире из кухни и комнаты. Ольга вымыла полы в кухне и комнате, прибралась и села на табурет, не зная, что ей делать дальше и как теперь жить. Соседка-

бабушка принесла девочке кулеш в чашке, чтобы сирота, бывшая худой и не по летам маленького роста, поела что-нибудь, и Ольга скушала все без остатка. А когда бабушка ушла, Оля начала стирать белье: рубашку матери и подштанники отца, что от них сохранилось из белья и верхней одежды. Вечером Ольга легла спать на койку, где спали всегда отец с матерью, когда они были живые и больные. Наутро она встала, умылась, прибрала постель, подмела комнату и сказала: "Опять надо жить!" -- так часто говорила ее мать. Затем Ольга пошла в кухню и стала там хлопотать, точно она, подобно умершей матери, стряпала обед; стряпать было нечего, не было никаких продуктов, но Ольга все же поставила пустой горшок на загнетку печки, взяла чаплю, оперлась на нее и, вздохнув, пригорюнилась около печи, как делала мать. Потом она перетерла и составила в ящик стола всю посуду, посмотрела на часы, подтянула гирию к циферблату и подумала: "Не то отец вовремя придет с дежурства, не то запоздает? Если будет формироваться маршрут, то опоздает" -- так обычно думала мать Ольги, называя своего мужа отцом. Теперь девочка-сирота тоже думала и поступала подобно матери, и ей от этого было легче жить одной. Она знала, что ей четырнадцать лет и ее зовут Ольгой, но, когда она делала вместо матери все дела по хозяйству, когда она повторяла ее слова, вздыхала от нужды и тихо томилась на кухне, девочка воображала себе, что мать ее еще жива в ней немного, она чувствовала ее вместе с собою.

Вечером Ольга зажгла лампу, в ней был на дне керосин, налитый когда-то отцом, и поставила огонь на подоконник. Так же делала и ее мать, когда ожидала отца в темное время. Отец, подходя к дому, еще издали кашлял на улице и сморкался, чтобы жена и дочь слышали, что идет отец. Но теперь на улице было постоянно тихо; народ разошелся по сельским хлебным местам либо лежал в своих жилищах слабый и болезненный, а в некоторых дворах вовсе вымер. Ольга все же дотемна ожидала отца или кого-нибудь, кто бы пришел к ней, но никто не вспомнил о сироте -- ни бабушка-соседка, ни другие люди, потому что у них была своя боль и своя забота. Тогда она легла в кровать родителей и уснула одна.

Девочка пожила дома еще два дня, переночевала, а потом ушла на станцию. Далеко от нее, в губернском городе на Волге, жила ее тетя; она приезжала два года тому назад гостить к матери и была в воображении Ольги богатой и доброй. Тетка была сестрой матери, она даже походила на нее лицом, и девочка хотела сейчас поскорее уехать к ней, чтобы жить около тетки и не скучать по матери. Болея перед смертью, мать говорила, что если Ольге суждено жить, то пусть она едет к тетке, чтобы не оставаться одной на свете; сестра матери и накормит сироту, и обошьет, и отдаст в учение. Теперь дочь вспомнила мать и послушалась ее.

На вокзале было пустынно; война с буржуями отошла в южную сторону. На железнодорожном пути против вокзальной платформы стоял один небольшой, старый паровоз и два пустых товарных вагона. Из будки паровоза на девочку глядел помощник машиниста; он помнил ее отца и мать, и знал, что они скончались, поэтому позвал сироту на машину. Девочка влезла по трапу на паровоз; механик развязал красный платок с пищей и вынул оттуда четыре печеные картошки; затем он погрел их на котле, посыпал солью и дал Ольге поесть две картошки, а две съел сам. Ольге захотелось, чтобы механик взял ее к себе домой, она бы стала у него жить и привыкла бы к нему. Но паровозный механик ничего не сказал девочке доброго, он только покормил ее и спрятал обратно свой пустой красный платок. Он сам был многодетный человек и не мог решить, сможет ли он прокормить лишний рот.

Ольга просидела на паровозе до самых вечерних сумерек, пока не подъехал к вокзалу длинный поезд с вагонами-теплушками, в которых находились красноармейцы.

-- Я теперь пойду, мне к тетке ехать надо, -- сказала Ольга механику. -- Мне мать велела, когда она еще живая была.

-- Раз надо, тогда езжай, -- сказал ей механик.

Ольга сошла с паровоза и направилась к красноармейскому поезду. Все вагоны были открыты настежь, и почти все красноармейцы вышли наружу; некоторые из них ходили по вокзальной платформе и смотрели, что находится вокруг них -- водонапорная башня, дома около станции и далее их простые хлебные поля. Четыре красноармейца несли суп в цинковых ведрах из станционной кухни; Ольга близко подошла к тем ведрам с супом и поглядела в них: оттуда пахло вкусным мясом и укропом, но это было для красноармейцев, потому что они ехали на войну и им надо быть сильными, а Ольге кушать этот суп не полагалось.

Около одного вагона стоял задумчивый красноармеец; он не спешил идти обедать и отдыхал от дороги и от войны.

-- Дядя, можно я тоже с вами поеду? -- попросилась Ольга. -- Меня родная тетка ждет...

-- А она где отсюда проживает? -- спросил красноармеец. -- Далече?

Ольга назвала город, и красноармеец согласился, что это -- далеко, пешком не дойдешь, а с поездом завтра к утру, пожалуй, поспеешь туда.

В это время к вагону подошли два красноармейца с ведром супа, а позади них еще несколько красноармейцев несли в руках хлеб, махорку, кашу в кастрюле, мыло, спички и прочее довольствие.

-- Вот тут девочка доехать до тетки просится, -- сказал красноармеец своим подошедшим товарищам. -- Надо бы взять ее, что ли...

-- А чего нет -- пускай едет! -- сказал красноармеец, прибывший с двумя хлебами под мышками. -- В невесты она не годится -- мала, а в сестры -- как раз...

Ольгу посадили в вагон, дали ей ложку и большой ломоть хлеба, и она села среди красноармейцев, чтобы есть общий суп из цинкового чистого ведра. Вскоре один красноармеец заметил, что ей неловко есть, сидя на полу, и он велел ей встать на колени -- тогда она будет доставать ложкой погуще со дна, будет видеть, где плавают жир и где находится говядина.

После ужина поезд тронулся. Красноармейцы уложили Ольгу на верхнее помостье, потому что там было теплее и тише, а сверху укрыли ее двумя шинелями, чтобы она не продрогла от ночной или утренней прохлады.

2

Поздно утром красноармейцы разбудили Ольгу. Поезд стоял на большой станции; незнакомые паровозы чужими голосами гудели вдалеке, и солнце светило не с той стороны, с какой оно светило в поселке, где жила Ольга. Красноармейцы подарили Ольге половину печеного хлеба и ломоть сала и опустили ее из вагона под руки на землю.

-- Тут твоя тетка живет, -- сказали они. -- Ступай к ней, учись и вырастай большая, в твоё время хорошо будет жить.

-- А я не знаю, где тетка живет, -- произнесла Ольга снизу; она стояла теперь одна, в бедной юбчонке, босая и с хлебом под мышкой.

-- Сыщешь, -- ответил задумчивый красноармеец. -- Люди укажут.

Но Ольга не уходила; ей хотелось остаться с красноармейцами в вагоне и ехать с ними, куда они едут. Она уже привыкла к ним немного, и ей хотелось каждый день есть суп с говядиной.

-- Ну, иди помаленьку, -- поторопили ее из вагона.

-- А вы сказали, мне хорошо будет, а когда? -- спросила она, боясь сразу уходить к тетке, неизвестно куда.

-- Потерпи, -- ответил ей прежний, задумчивый красноармеец. -- Нам сейчас заботы много: белых надо покончить.

-- Я потерплю, -- согласилась Ольга. -- А теперь до свиданья, я к тетке пошла.

Тетку она отыскала лишь к самому вечеру. Она спрашивала всех встречных, у кого лица были добрее, но сперва никто не знал, где живет Татьяна Васильевна Благих. Хлеб у Ольги отобрал один прохожий человек, который попросил откусить один раз, но взял весь хлеб и ушел в сторону, сказав девочке, что хлебом спекулировать теперь воспрещается. Ольга съела поскорее все сало, которое дали ей красноармейцы, чтобы его никто больше не отнял, и вошла в один двор -- попросить напиться. Пожилая женщина вынесла ей кружку воды и сказала, что больше подать нечего.

-- А я не побираюсь, я к тетке приехала, -- сказала Ольга.

-- А кто ж твоя тетка-то? -- с подозрением спросила дворовая женщина.

Ольга подробно назвала свою тетку; тогда женщина почему-то вздохнула и указала девочке, куда надо идти: направо за угол, и там будет третий дом по левой стороне с некрашеными ставнями, там и живут Благих, муж и жена, а детей у них нету.

-- Нету? -- спросила Ольга.

-- Нету, -- подтвердила женщина, -- у этих людей дети рожаться не любят.

Ольга нашла небольшой деревянный дом с некрашеными ставнями, вошла во двор, заросший дикой травой, и постучала в запертые сени. Оттуда послышался недовольный, тихий голос, затем шаги, и дверь отворилась -- она была закрыта на засов и щеколду, как на ночь. Босая, простоволосая тетка Татьяна Васильевна вышла к Ольге и осмотрела всю девочку. Ольга увидела перед собой тетку; она думала, что тетка была веселой и доброй, какой Ольга запомнила ее в детстве, когда Татьяна Васильевна жила в гостях у отца и матери, а теперь тетка глядела на девочку равнодушными глазами и не обрадовалась, что к ней приехала круглая сирота.

-- Ты что сюда явилась? -- спросила тетка.

-- Мне мать велела, -- произнесла Ольга. -- Она ведь теперь умерла вместе с отцом, а я одна живу... Тетя, их больше нету!

Татьяна Васильевна подняла конец фартука и вытерла глаза.

-- Наша родня вся недолговечная, -- сказала она. -- Я ведь тоже только на вид здорова, а сама не жилица... И-их, нет, не жилица!

Ольга с удивлением смотрела на тетку -- теперь она казалась ей доброй, потому что грустила об умершей сестре и о самой себе.

-- Живешь-живешь, и погоревать некогда, -- вздохнула Татьяна Васильевна. -- Ты ступай куда посиди на улице, -- указала она племяннице, -- а то я сейчас полы только вымыла, уборку сделала, пустить тебя некуда...

-- А я на дворе побуду, тут трава у вас растет, -- сказала Ольга.

Но Татьяна Васильевна рассердилась:

-- Нечего тебе на дворе тут делать! Здесь у нас куры ходят, они и так не несутся, а ты пугать их будешь сидеть. А траву мы косим на корм кроликам, ходить по ней нельзя... Ступай по тропинке за ворота!

Ольга вышла на улицу; посредине ее лежали сложенные в штабель старые ржавые рельсы, и между ними уже много раз выростала и умирала трава, и теперь она снова росла. Девочка села на эти рельсы -- они находились как раз против окон того дома, где жила тетка, -- и стала ожидать, когда высохнут полы в комнатах у тетки, и тогда ее позовут и накормят.

Но прошли уже все прохожие, проехали крестьяне на телегах в свои деревни и ломовые возчики, возившие пшено в мешках со станции, перестали ездить, -- наступил вечер, и стало темно. Ольги озябли голые ноги, она их поджала ближе к себе и задремала, сидя на стынущем рельсе. Затем, открыв глаза, она увидела, что в окнах у тетки теперь горел свет, а на всей улице была страшная тихая ночь детства, населенная еле видимыми, неизвестными существами, от которых все люди спрятались домой и заперли двери на железо. Ольга побежала поскорее к тетке; калитка была закрыта, тогда девочка постучала в освещенное окно. Изнутри комнаты отдернули занавеску, и оттуда на Ольгу поглядело большое лицо пожилого человека, обросшего густой черной бородой; он быстро проглотил что-то, словно испугавшись, что к нему пришли отымать пищу, и внимательно всмотрелся во тьму своими глазами, такими маленькими, что они казались кроткими, как бывает у животных. Позади этого человека был виден стол с ужином, и Татьяна Васильевна сейчас поспешно убирала хлеб и посуду со стола.

Ольга отошла от окна. Вскоре отворилась калитка, и оттуда выглянула тетка.

-- Ты что стучишь? -- спросила она. -- А мы уж думали, ты давно ушла...

-- Я уморилась ждать, когда вы позовете, -- сказала Ольга. -- Я боюсь одна на улице...

-- Ну иди уж, -- позвала тетка.

В кухне и горнице у тетки было чисто, прибрано и покойно и пахло хорошо, как у богатых. "Здесь я жить не буду, -- подумала Ольга. -- Тут нельзя: скажут, ты испачкаешь все". Муж Татьяны Васильевны, который смотрел на Ольгу через окно, опять ел за столом свой ужин.

-- От своих детей бог избавил, зато нам их родня подсыпает, -- вздохнула Татьяна Васильевна. -- Вот тебе, Аркаша, племянница моя, она теперь круглая сирота: пои, корми ее, одевай и обувай!..

-- Изволь радоваться! -- равнодушно, точно про себя, сказал муж Татьяны Васильевны. -- Ну, дай ей поесть, и пускай она сегодня переночует... А то отвечать еще за нее придется!

-- А чего ж я ей постелю-то!--воскликнула тетка. -- У нас ведь нет ничего лишнего-то: ни белья, ни одеяла, ни наволочки чистой!

-- Я так буду спать -- на жестком, а покроюсь своим платьем, --согласилась Ольга.

-- Пусть ночует, -- указал жене дядя, Аркадий Михайлович. -- А ты нынче не зверствуй, а то тебе Советская власть покажет!

Татьяна Васильевна сначала озадачилась, а потом пришла в озлобление:

-- Чем же это она мне покажет-то?.. Советская-то власть, она думает, что люди это ангелы-товарищи, а они возьмут нарожают тебе детей, а сами помрут, -- вот пусть она их и кормит, власть-то Советская!..

-- Прокормит, -- уверенно сказал муж тетки, жуя кашу с маслом из ложки.

-- "Прокормит!" -- передразнила Татьяна Васильевна своего мужа. -- Кто их прокормит, если у них родители рожают без удержу! Уж я-то знаю, как трудно оборачиваться Советской власти, уж я-то ей сочувствую!..

-- Меня кормить не надо, я спать хочу, -- сказала Ольга; она села на сундук и отвернулась лицом от чашки с кашей, которая стояла на столе перед хозяином.

Муж тетки вытер свою ложку, положил ее около чашки и сказал сироте:

-- Садись доедай -- тут осталось.

Ольга села к столу и начала понемногу есть пшеничную кашу, подгребая ее со дна чашки.

-- Ну вот, а говорила, что тебя кормить не надо, ты спать хочешь, -- произнесла тетка и поскорее положила на сундук подушку без наволочки, чтоб девочка ложилась спать.

-- Я немножко, -- ответила Ольга; она еще раз взяла половину ложки каши, затем начисто облизала ложку и аккуратно положила ее на стол. -- Больше не буду, -- сообщила она.

-- Уже наелась? -- добрым голосом спросила Татьяна Васильевна.

-- Нет, я расхотела, -- сказала Ольга.

-- Ну, ложись теперь спать, отдыхай, -- пригласила ее тетка на сундук. -- А то мы свет сейчас потушим: чего зря керосину гореть!

Ольга улеглась на сундук, тихо сжалась всем телом, чтобы чувствовать себя теплее, и уснула на твердом дереве, как на мягкой постели, потому что у нее не было сейчас другого места на свете.

3

Утром дядя и тетка проснулись рано; дядя был железнодорожным машинистом и уезжал в очередную поездку на товарном поезде. Татьяна Васильевна собрала мужу сытные харчи в дорогу -- кусок сала, хлеб, стакан пшена для горячей похлебки, четыре вареных яйца, -- и машинист надел теплый пиджак и шапку, чтобы не остудить голову на ветру.

-- Так как же нам теперь жить-то? -- шепотом спросила Татьяна Васильевна у мужа.

-- А что? -- сказал Аркадий Михайлович.

-- Да видишь вон, -- указала тетка на Ольгу, -- лежит наше новое сокровище-то!

-- Она -- твоя родня, -- ответил ей муж, -- делай сама с нею, что хочешь, а мне чтоб покой дома был.

После ухода мужа тетка села против спящей племянницы, подперла щеку рукой, пригорюнилась и тихо зашептала:

-- Приехала, развалилась -- у дяди с тетей ведь добра много: накормят, обуют, оденут и с приданным замуж отдадут!.. Принимайте, дескать, меня в подарок, -- вот я босая, в одной юбчонке, голодная, невытая, сирота несчастная... Может, бог даст, вы скоро подохнете -- дядя с тетей, -- так я тут хозяйкой и останусь: что вы горбом да трудом добыли, я враз в оборот пущу!.. Ну уж, милая, пускай черти крошечные тебя к себе заберут, а с моего добра я и пыль тебе стирать не позволю и куском моим ты подавишься!.. Мужик целый день на работе, на ветру, на холоде, я с утра до ночи не присяду, а тут, на тебе, приехала на все готовое: любите, питайте меня... Ольга, чего ты все спишь-то? -- вдруг громко позвала Татьяна Васильевна. -- Ишь, уморилась, подумаешь, -- вставать давно пора! Мне из-за тебя ни за чего приниматься нельзя!..

Ольга лежала неподвижно, обратившись лицом к стене; она свернулась в маленькое тело, прижав колени почти к подбородку, сложив руки на животе и склонив голову, чтобы дышать себе на грудь и согревать ее; изношенное серое платье покрывало ее, но это платье уже было не по ней -- она из него выросла, и его хватало лишь потому, что Ольга лежала, тесно сжавшись; днем же почти до колен были обнажены худые ноги подростка и руки покрывались обшлагами рукавов только до локтей.

-- Ишь ты, разнежилась как! -- раздражалась близ нее тетка.

-- Я не сплю, -- сказала Ольга.

-- А что ж ты лежишь тогда, мне ведь горницу убирать пора!

-- Я вас слушала, -- ответила девочка.

Тетка осерчала:

-- Ты еще путем не выросла, а уж видать, что -- ехидна!

Ольга встала и оправила на себе платье. Помолчав, Татьяна Васильевна сказала ей:

-- Пойди умойся, потом я самовар поставлю. Небось кушать хочешь!

Ольга ничего не ответила; она не знала, что нужно сейчас думать и как ей быть.

За чаем тетка дала Ольге немного черных сухарей и половину вареного яйца, а другую половину съела сама. Поев, что ей дали, Ольга собрала со скатерти еще крошки от сухарей и высыпала их себе в рот.

-- Иль ты не сыта еще? -- спросила тетка. -- Тебя теперь и не прокормишь!.. Уйдешь из дому, а ты и начнешь по шкафам крошки собирать да по горшкам лазить... А мне сейчас как раз на базар надо идти, как же я тебя одну-то во всем доме оставлю?

-- Я сейчас пойду, я у вас не останусь, -- ответила ей Ольга.

Тетка довольно улыбнулась.

-- Что ж, иди -- значит, тебе есть куда идти... А когда соскучишься, в гости будешь к нам приходиться. Так-то будет лучше.

-- Когда соскучусь, тогда приду, -- пообещала Ольга, и она ушла.

На улице было утро, с неба светило теплое солнце; скоро будет уже осень, но она еще не наступила, только листья на деревьях стали старыми. Ольга пошла мимо домов по чужому, большому городу, но смотрела она на все незнакомые места и предметы без желанья, потому что она чувствовала сейчас горе от своей тетки, и это горе в ней превратилось не в обиду или ожесточение, а в равнодушие; ей стало теперь неинтересно видеть что-либо новое, точно вся жизнь перед ней вдруг омертвела. Она двигалась вперед вместе с разными прохожими людьми и, что видела вокруг, тотчас забывала. На одном желтом доме висели объявления и плакаты, люди стояли и читали их. Ольга тоже прочитала, что там было написано. Там писалось о том, куда требуются рабочие и на какой разряд оплаты по семиразрядной тарифной сетке; затем объявлялось, что в университет принимаются слушатели с предоставлением стипендии и общежития. Ольга пошла в университет -- она хотела жить в общежитии и учиться; она уже четыре зимы ходила в школу, когда жила при родителях.

В канцелярии университета никого не было, все ушли в столовую, но сидел на стуле один сторож-старик и ел хлебную тюрю из жестяной кружки, выбирая оттуда пальцами мочёные кусочки хлеба. Он сказал Ольге, что ее по малолетству и несознательности сейчас в университет не примут, пусть она сначала поучится добру в низшей школе.

-- Я хочу жить в общежитии, -- проговорила Ольга.

-- Чего хорошего!--ответил ей старик. -- Живи с родными, там тебе милее будет.

-- Дедушка, дай мне тюрю доесть, -- попросила Ольга. -- У тебя ее немножко осталось, ты ей все равно не наешься, а мочёнки ты уже все повиыташил...

Старик отдал свою кружку сироте:

-- Похлебай: ты еще маленькая, тебе хватит, может, наешься... А ты чья сама-то будешь?

Ольга начала есть тюрю и ответила:

-- Я ничья, я сама себе своя.

-- Ишь ты, сама себе своя какая! -- произнес старик. -- А тюрю мою зачем ешь? Харчилась бы сама своим добром, жила бы в чистом поле...

Ольга отдала кружку обратно старику:

-- Доедай сам, тут еще осталось... Меня в люди не принимают!

4

Служащие канцелярии, пришедшие из столовой, приняли в Ольге участие. Заведующий написал письмо на курсы подготовки младших железнодорожных агентов с просьбой принять осиротевшую дочь рабочего на эти курсы и обеспечить ее всем необходимым для жизни. Сторож-старик проводил вечером Ольгу по адресу, и комендант курсов пока что отвел для Ольги место в общежитии -- койку и шкаф -- рядом с другой такой же койкой в маленькой выбеленной комнате; далее по коридору было еще много комнат, где жили учащиеся курсанты. На завтрашний день с утра, когда придет заведующий курсами, комендант велел Ольге оформить свое поступление посредством заполнения анкеты.

Несколько дней Ольга привыкала к подругам по общежитию и к своей новой жизни, а потом почувствовала, что ей здесь хорошо. Утром и вечером она училась в подготовительном классе, который находился при курсах, а среди дня был перерыв на обед и на отдых. Узнав, что Ольга нуждается и не может платить в

столовой за пищу, заведующий велел выдать новой учащейся стипендию за полмесяца вперед, а также башмаки, белье, нитки, две пары чулок, верхнюю куртку и прочее, что полагалось по норме.

Тревога и грусть перед жизнью, вызванные в Ольге смертью родителей, ночлегом у тетки и сознанием, что все люди обходятся без нее и она никому не нужна, теперь в ней прекратились. Ольга понимала, что она теперь дорога и любима, потому что ей давали одежду, деньги и пропитание, точно родители ее воскресли и она опять жила у них в доме. Значит, все люди, вся Советская власть считают ее необходимой для себя и без нее им будет хуже.

И Ольга училась с прилежным усердием, чувствуя в себе спокойное, счастливое сердце, лишь иногда оно томилось в ней неутошимым воспоминанием об отце и матери, и девочка хотела, чтобы ее снова любил кто-нибудь -отдельный человек, подобно отцу или матери, а не все люди, которые сейчас ее кормят и учат, но которых она хорошо не знает.

Просыпаясь по ночам, Ольга забывала, что она лежит в общежитии, ей казалось, что рядом с нею спят в сумраке на своей старой кровати мать и отец, что слышатся свистки маневрового паровоза со станции и брешут собаки вдалеке, охраняя добро своих хозяев, сложенное в дворовых закутах... Но глаза ее понемногу привыкали к сумраку, и девочка видела спящую подругу-соседку, пятнадцатилетнюю Лизу. Подруга всегда спала кротко, тихо дыша спокойным телом, ей, может быть, снилось ее девичье предчувствие -будущая счастливая жизнь; из-за толстых стен большого здания слышался долгий городской гул, всегда как будто удаляющийся, но возникающий вновь из ночного труда и движения людей.

В классе Ольга сидела рядом с Лизой, которая тоже была наполовину сиротой: ее отца убили на империалистической войне, а мать, нестарая женщина, вышла замуж за заведующего столовой и, не заботясь более о своей дочери, предалась шумной, сытой жизни и какой-то общественной деятельности. Но перед Лизой открылись другие близкие люди; утратив мать, она нашла подруг в общежитии, узнала, кто такой Ленин, что такое революция, -- и печаль нужды и сиротства оставила ее сердце, которое дотоле было бедным и несчастным, потому что оно чувствовало жизнь лишь как необходимость терпеть голод и тоску вдвоем с матерью, в одиночестве своей комнаты, около печки-лежанки, где они спали и изредка готовили пищу, когда доставали пшена и щепок. Затем мать ушла к мужу и забывала приносить дочери хлеб...

Подруги, общежитие, обучение науке, кружки самодеятельности, питание всем готовым в столовой -- это было не то, что домашнее уныние и непрерывная забота о хлебе, утомляющая детскую душу.

Ольга вначале не понимала, за что ее здесь кормят и позволяют жить в чистоте и тепле, почему здесь не нужно вдобавок к учению работать, а нужно только думать, учиться, слушать музыку, когда играют по вечерам в клубе на гармонии, и читать книги, описывающие всю жизнь. И Ольга боялась, что ее прогонят из школы и общежития, потому что ее пока ведь не за что любить, кормить и доверчиво тратить на нее добро бедного народа. И хотя она не пугалась нужды и ночлега в неприютных местах, но ей было жалко лишиться этой счастливой и веселой жизни в общежитии, чувства свободы и сознания своего значения, которое она приобретала из книг и от учителей на курсах; ей уже не хотелось теперь жить, как прежде, со спрятанным, тихим сердцем, -- она хотела им чувствовать все, что ей раньше было незнакомо.

Виктор Астафьев. Далекая и близкая сказка

Рассказ из повести «Последний поклон» в сокращении

На задворках нашего села среди травянистой поляны стояло на сваях длинное бревенчатое помещение с подшивом из досок. Оно называлось "мангазина", к которой примыкала также завозня, — сюда крестьяне нашего села свозили артельный инвентарь и семена, называлось это "общественным фондом". Если сгорит дом, если сгорит даже все село, семена будут целы и, значит, люди будут жить, потому что, покуда есть семена, есть пашня, в которую можно бросить их и вырастить хлеб, он крестьянин, хозяин, а не нищерброд.

Поодаль от завозни — караулка. Прижалась она под каменной осыпью, в заветрии и вечной тени. Над караулкой, высоко на увале, росли лиственницы и сосны. Сзади нее выкуривался из камней синим дымком ключ. Он растекался по подножию увала, обозначая себя густой осокой и цветами таволги в летнюю пору, зимой — тихим парком из-под снега и куржаком по напоздавшим с увалов кустарникам.

В караулке было два окна: одно подле двери и одно сбоку в сторону села. То окно, что к селу, затянуло расплодившимися от ключа черемушником, жалицей, хмелем и разной дурниной. Крыши у караулки не было. Хмель запеленал ее так, что напоминала она одноглазую косматую голову. Из хмеля торчало трубой опрокинутое ведро, дверь открывалась сразу же на улицу и стряхивала капли дождя, шишки хмеля, ягоды черемухи, снег и сосульки в зависимости от времени года и погоды.

Жил в караулке Вася-поляк. Роста он был небольшого, хром на одну ногу, и у него были очки. Единственный человек в селе, у которого были очки. Они вызывали пугливую учтивость не только у нас, ребятишек, но и у взрослых.

Жил Вася тихо-мирно, зла никому не причинял, но редко кто заходил к нему. Лишь самые отчаянные ребятишки украдкой заглядывали в окно караулки и никого не могли разглядеть, но пугались все же чего-то и с воплями убегали прочь.

У завозни же ребятишки толкались с ранней весны и до осени: играли в прятки, заползали на брюхе под бревенчатый въезд к воротам завозни либо хоронились под высоким полом за сваями, и еще в сусеках прятались; рубились в бабки, в чику. Тес подшива был избит панками — битами, налитыми свинцом. При ударах, гулко отдававшихся под сводами завозни, внутри нее вспыхивал воробьиный переполох.

Здесь, возле завозни, я был приобщен к труду — крутил по очереди с ребятишками веялку и здесь же в первый раз в жизни услышал музыку -скрипку...

На скрипке редко, очень, правда, редко, играл Вася-поляк, тот загадочный, не из мира сего человек, который обязательно приходит в жизнь каждого парнишки, каждой девчонки и остается в памяти навсегда. Такому таинственному человеку вроде и полагалось жить в избушке на курьих ножках, в морхлом месте, под увалом, и чтобы огонек в ней едва теплился, и чтобы над трубою ночами по-пьяному хохотал филин, и чтобы за избушкой дымился ключ. и чтобы никто-никто не знал, что делается в избушке и о чем думает хозяин.

Помню, пришел Вася однажды к бабушке и что-то спросил у нее. Бабушка посадила Васю пить чай, принесла сухой травы и стала заваривать ее в чугунке. Она жалостно поглядывала на Васю и протяжно вздыхала.

Вася пил чай не по-нашему, не вприкуску и не из блюдца, прямо из стакана пил, чайную ложку выкладывал на блюдце и не ронял ее на пол. Очки его грозно посверкивали, стриженная голова казалась маленькой, с брюковку. По черной бороде полоснуло сединой. И весь он будто присолен, и крупная соль иссушила его.

Ел Вася стеснительно, выпил лишь один стакан чаю и, сколько бабушка его ни уговаривала, есть больше ничего не стал, церемонно откланялся и унес в одной руке глиняную кринку с наваром из травы, в другой — черемуховую палку.

— Господи, Господи! — вздохнула бабушка, прикрывая за Васей дверь. -Доля ты тяжкая... Слепнет человек.

Вечером я услышал Васину скрипку.

Была ранняя осень. Ворота завозни распахнуты настезь. В них гулял сквозняк, шевелил стружки в отремонтированных для зерна сусеках. Запахом прогорклого, затхлого зерна тянуло в ворота. Стайка ребятишек, не взятых на пашню из-за малолетства, играла в сыщиков-разбойников. Игра шла вяло и вскоре совсем затухла. Осенью, не то что весной, как-то плохо играется. Один по одному разбрелись ребятишки по домам, а я растянулся на прогретом бревенчатом въезде и стал выдергивать проросшие в щелях зерна. Ждал, когда загремят телеги на увале, чтобы перехватить наших с пашни, прокатиться домой, а там, глядишь, коня сводить на водопой дадут.

За Енисеем, за Караульным быком, затемнело. В распадке речки Караулки, просыпаясь, мигнула раз-другой крупная звезда и стала светиться. Была она похожа на шишку репья. За увалами, над вершинами гор, упрямо, не по-осеннему тлела полоска зари. Но вот на нее скоротечно наплыла темнота. Зарю притворило, будто светящееся окно ставнями. До утра.

Сделалось тихо и одиноко. Караулки не видно. Она скрывалась в тени горы, сливалась с темнотою, и только зажелтевшие листья чуть отсвечивали под горой, в углублении, вымытом ключом. Из-за тени начали выкруживать летучие мыши, попискивать надо мною, залетать в распахнутые ворота завозни, мух там и ночных бабочек ловить, не иначе.

Я боялся громко дышать, втиснулся в зауголок завозни. По увалу, над Васиной избушкой, загрохотали телеги, застучали копыта: люди возвращались с полей, с заимок, с работы, но я так и не решился отклеиться от шершавых бревен, так и не мог одолеть накатившего на меня парализующего страха. На селе засветились окна. К Енисею потянулись дымы из труб. В зарослях Фокинской речки кто-то искал корову и то звал ее ласковым голосом, то ругал последними словами.

В небо, рядом с той звездой, что все еще одиноко светилась над Караульной речкой, кто-то зашвырнул огрызок луны, и она, словно обкусанная половина яблока, никуда не катилась, бескорая, сиротская, зябко стекленела, и от нее стекленело все вокруг. Он завозни упала тень на всю поляну, и от меня тоже упала тень, узкая и носатая.

За Фокинской речкой — рукой подать — забелели кресты на кладбище, скрипнуло что-то в завозне — холод пополз под рубаху, по спине, под кожу. к сердцу. Я уже оперся руками о бревна, чтобы разом оттолкнуться, полететь до самых ворот и забренчать щеколдой так, что проснутся на селе все собаки.

Но из-под увала, из сплетений хмеля и черемух, из глубокого нутра земли возникла музыка и пригвоздила меня к стене.

Сделалось еще страшнее: слева кладбище, спереди увал с избушкой, справа жуткое займище за селом, где валяется много белых костей и где давно еще, бабушка говорила, задавился человек, сзади темная завозня, за нею село, огороды, охваченные чертополохом, издали похожим на черные клубы дыма.

Один я, один, кругом жуть такая, и еще музыка — скрипка. Совсем-совсем одинокая скрипка. И не грозит она вовсе. Жалуетса. И совсем ничего нет жуткого. И бояться нечего. Дурак-дурачок! Разве музыки можно бояться? Дурак-дурачок, не слушал никогда один-то, вот и...

Музыка льется тише, прозрачней, слышу я, и у меня отпускает сердце. И не музыка это, а ключ течет из-под горы. Кто-то припал к воде губами, пьет, пьет и не может напиться — так иссохло у него во рту и внутри.

Видится почему-то тихий в ночи Енисей, на нем плот с огоньком. С плота кричит неведомый человек: “Какая деревня-а-а?” — Зачем? Куда он плывет? И еще обоз на Енисее видится, длинный, скрипучий. Он тоже уходит куда-то. Сбоку обоза бегут собаки. Кони идут медленно, дремотно. И еще видится толпа на берегу Енисея, мокрое что-то, замытое тиной, деревенский люд по всему берегу, бабушка, на голове волосья рвущая.

Музыка эта рассказывает о печальном, о болезни вот о моей говорит, как я целое лето малярией болел, как мне было страшно, когда я перестал слышать и думал, что навсегда буду глухим, вроде Алешки, двоюродного моего брата, и как являлась ко мне в лихорадочном сне мама, прикладывала холодную руку с синими ногтями ко лбу. Я кричал и не слышал своего крика.

В избе всю ночь горела привернутая лампа, бабушка показывала мне углы, светила лампой под печью, под кроватью, мол, никого нету.

И опять обоз возник.

Все он идет куда-то, идет, скрывается в студеньих торосах, в морозном тумане. Лошади все меньше, меньше, вот и последнюю скрал туман. Одиноко, как-то пусто, лед, стужа и неподвижные темные скалы с неподвижными лесами.

Но не стало Енисея, ни зимнего, ни летнего; снова забила живая жилка ключа за Васиной избушкой. Ключ начал полнеть, и не один уж ключ, два, три, грозный уже поток хлещет из скалы, катит камни, ломает деревья, выворачивает их с корнями, несет, крутит. Вот-вот сметет он избушку под горой, смоем завозню и обрушит все с гор. В небе ударят грома, сверкнут молнии, от них вспыхнут таинственные цветы папоротника. От цветов зажжется лес, зажжется земля, и не залить уже будет этот огонь даже Енисеем — ничем не остановить страшную такую бурю!

“Да что же это такое?! Где же люди-то? Чего же они смотрят?! Связали бы Васю-то!”

Но скрипка сама все потушила. Снова тоскует один человек, снова чего-то жаль, снова едет кто-то куда-то, может, обозом, может, на плоту, может, и пешком идет в дали дальние.

Мир не сгорел, ничего не обрушилось. Все на месте. Луна со звездой на месте. Село, уже без огней, на месте, кладбище в вечном молчании и покое, караулка под увалом, объятая отгорающими черемухами и тихой струной скрипки.

Все-все на месте. Только сердце мое, занявшееся от горя и восторга, как встрепенулось, как подпрыгнуло, так и бьется у горла, раненное на всю жизнь музыкой.

О чем же это рассказывала мне музыка? Про обоз? Про мертвую маму? Про девочку, у которой сохнет рука? На что она жаловалась? На кого гневалась? Почему так тревожно и горько мне? Почему жалко самого себя? И тех вон жалко, что спят непробудным сном на кладбище. Среди них под бугром лежит моя мама, рядом с нею две сестренки, которых я даже не видел: они жили до меня, жили мало, — и мать ушла к ним, оставила меня одного на этом свете, где высоко бьется в окно нарядной траурницей чье-то сердце.

Музыка кончилась неожиданно, точно кто-то опустил властную руку на плечо скрипача: “Ну, хватит!” На полуслове смолкла скрипка, смолкла, не выкрикнув, а выдохнув боль. Но уже, помимо нее, по своей воле другая какая-то скрипка взвивалась выше, выше и замирающей болью, затиснутым в зубы стоном обрвалась в поднебесье...

Долго сидел я в уголке завозни, слизывая крупные слезы, катившиеся на губы. Не было сил подняться и уйти. Мне хотелось тут, в темном уголке, возле шершавых бревен, умереть всеми заброшенным и забытым. Скрипки не было слышно, свет в Васиной избушке не горел. “Уж не умер ли Вася-то?” — подумал я и

осторожно пробрался к караулке. Лица моего коснулись цепкие, всегда студёные листья хмеля, над головой сухо зашелестели шишки, пахнущие ключевой водой. Я приподнял нависшие над окошком перевитые бечевки хмеля и заглянул в окно. Чуть мерцающая, топилась в избушке прогоревшая железная печка. Колеблющимся светом она обозначала столик у стены, топчан в углу. На топчане полулежал Вася, прикрывши глаза левой рукой. Очки его сверху лапками валялись на столе и то вспыхивали, то гасли. На груди Васи покоилась скрипка, длинная палочка-смычок была зажата в правой руке.

Я тихонько приоткрыл дверь, шагнул в караулку. После того как Вася пил у нас чай, в особенности после музыки, не так страшно было сюда заходить.

Я сел на порог, не отрываясь глядел на руку, в которой зажата была гладкая палочка.

— Сыграйте, дяденька, еще.

— Что тебе, мальчик, сыграть?

По голосу я угадал: Вася нисколько не удивился тому, что кто-то здесь есть, кто-то пришел.

— Что хотите, дяденька.

Вася сел на топчане, повертел деревянные штыречки скрипки, потрогал смычком струны.

— Подбрось дров в печку.

Я исполнил его просьбу. Вася ждал, не шевелился. В печке щелкнуло раз, другой, прогоревшие бока ее обозначились красными корешками и травинками, качнулся отблеск огня, пал на Васю. Он вскинул к плечу скрипку и заиграл.

Прошло немалое время, пока я узнал музыку. Та же самая была она, какую слышал я у завозни, и в то же время совсем другая. Мягче, добрее, тревога и боль только угадывались в ней, скрипка уже не стонала, не сочилась ее душа кровью, не бушевал огонь вокруг и не рушились камни.

Трепетал и трепетал огонек в печке, но, может, там, за избушкой, на увале засветился папоротник. Говорят, если найдешь цветок папоротника - невидимкой станешь, можешь забрать все богатства у богатых и отдать их бедным, выкрасть у Кошеля Бессмертного Василису Прекрасную и вернуть ее Иванушке, можешь даже пробраться на кладбище и оживить свою родную мать.

Разгорелись дрова подсеченной сухостоины — сосны, накалилось до лиловости колено трубы, запахло раскаленным деревом, вскипевшей смолой на потолке. Избушка наполнилась жаром и грузным красным светом. Поплясывал огонь, весело прищелкивала разогнавшаяся печка, выстреливая на ходу крупные искры.

Тень музыканта, сломанная у поясицы, металась по избушке, вытягивалась по стене, становилась прозрачной, будто отражение в воде, потом тень отдалялась в угол, исчезала в нем, и тогда там обозначался живой музыкант, живой Вася-поляк. Рубаха на нем была расстегнута, ноги босы, глаза в темных обводах. Щекою Вася лежал на скрипке, и мне казалось, так ему покойней, удобней и слышит он в скрипке такое, чего мне никогда не услышать.

Когда притухала печка, я радовался, что не мог видеть Васиного лица, бледной ключицы, выступившей из-под рубахи, и правой ноги, кургузой, куцей, будто обкусанной щипцами, глаз, плотно, до боли затиснутых в черные ямки глазниц. Должно быть, глаза Васи боялись даже такого малого света, какой выплескивался из печки.

В полутьме я старался глядеть только на вздрагивающий, мечущийся или плавно скользящий смычок, на гибкую, мерно раскачивающуюся вместе со скрипкой тень. И тогда Вася снова начинал представляться мне чем-то вроде волшебника из далекой сказки, а не одиноким калекою, до которого никому нет дела. Я так засмотрелся, так заслушался, что вздрогнул, когда Вася заговорил.

— Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. — Вася думал вслух, не переставая играть. — Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, — он еще не сирота. — Какое-то время Вася думал про себя. Я ждал. — Все проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не гаснет тоска по родине...

Скрипка снова тронула те самые струны, что накалились при давешней игре и еще не остыли. Рука Васина снова содрогнулась от боли, но тут же смирилась, пальцы, собранные в кулак, разжались.

— Эту музыку написал мой земляк Огинский в корчме — так называется у нас заезжий дом, — продолжал Вася. — Написал на границе, прощаясь с родиной. Он посылал ей последний привет. Давно уже нет композитора на свете. Но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не мог отнять, жива до сих пор.

Вася замолчал, говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка. Голос ее становился тише, тише, он растягивался в темноте тонюсенькой светлой паутинкой. Паутинка задрожала, качнулась и почти беззвучно оборвалась.

Я убрал руку от горла и выдохнул тот вдох, который удерживал грудь, рукой, оттого что боялся оборвать светлую паутинку. Но все равно она оборвалась. Печка потухла. Сляясь, засыпали в ней угли. Васи не видно. Скрипки не слышно.

Тишь. Темень. Грусть.

— Уже поздно, — сказал Вася из темноты. — Иди домой. Бабушка будет беспокоиться.

Я привстал с порога и, если бы не схватился за деревянную скобу, упал бы. Ноги были все в иголках и как будто вовсе не мои.

— Спасибо вам, дяденька, — прошептал я.

Вася шевельнулся в углу и рассмеялся смущенно или спросил “За что?”.

— Я не знаю, за что...

И выскочил из избушки. Растроганными слезами благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, спящий за ним лес. Мне даже мимо кладбища не страшно было идти. Ничего сейчас не страшно. В эти минуты не было вокруг меня зла. Мир был добр и одинок — ничего, ничего дурного в нем не умещалось.

Доверяясь доброте, разлитой слабым небесным светом по всему селу и по всей земле, я зашел на кладбище, постоял на могиле матери.

— Мама, это я. Я забыл тебя, и ты мне больше не снишься.

Опустившись на землю, я припал ухом к холмику. Мать не отвечала. Все было тихо на земле и в земле. Маленькая рябина, посаженная мной и бабушкой, нароняла остроперых крылышек на мамин бугорок. У соседних могил березы распустили нити с желтым листом до самой земли. На вершинах берез листа уже не было, и голые прутья исполосовали огрызок луны, висевший теперь над самым кладбищем. Все было тихо. Роса проступила на траве. Стояло полное безветрие. Потом с увалов ощутимо потянуло знобким холодком. Гуще потекли с берез листья. Роса стекленела на траве. Ноги мои застыли от ломкой росы, один лист закатился под рубаху, сделалось знобко, и я побрел с кладбища в темные улицы села меж спящих домов к Енисею.

Мне отчего-то не хотелось домой.

Не знаю, сколько я просидел на крутом яру по-над Енисеем. Он шумел у займища, на каменных бычках. Вода, сбитая с плавного хода бычками, вязалась в узлы, грузно переваливаясь возле берегов и кругами, воронками откатывалась к стрежню. Неспокойная наша река. Какие-то силы вечно тревожат ее, в вечной борьбе она сама с собой и со скалами, сдавившими ее с обеих сторон.

Но эта ее беспокойность, это ее древнее буйство не возбуждали, а успокаивали меня. Оттого, наверно, что была осень, луна над головой, скалистая от росы трава и крапива по берегам, вовсе не похожая на дурман, скорее на какие-то расчудесные растения; и еще оттого, наверно, что во мне звучала Васина музыка о неистребимой любви к родине. А Енисей, не спящий даже ночью, крутолобый бык на той стороне, пилка еловых вершин над дальним перевалом, молчаливое село за моей спиной, кузнечик, из последних сил работающий наперекор осени в крапиве, вроде бы один он во всем мире, трава, как бы отлитая из металла, — это и была моя родина, близкая и тревожная.

Глухой ночью возвратился я домой. Бабушка, должно быть, по лицу моему угадала, что в душе моей что-то свершилось, и не стала меня бранить.

— Ты где так долго? — только и спросила она. — Ужин на столе, ешь и ложись.

— Баба, я слышал скрипку.

— А-а, — отозвалась бабушка, — Вася-поляк чужое, батюшко, играет, непонятное. От его музыки бабы плачут, а мужики напиваются и буйствуют...

— А кто он?

— Вася-то? Да кто? — зевнула бабушка. — Человек. Спал бы ты. Мне рано к корове подыматься. — Но она знала, что я все равно не отстану: -Иди ко мне, лезь под одеяло.

Я прижался к бабушке.

— Студеный-то какой! И ноги мокрющие! Опять болеть будут. — Бабушка подоткнула под меня одеяло, погладила по голове. — Вася — человек без роду-племени. Отец и мать у него были из далекой державы —

Польши. Люди там говорят не по-нашему, молятся не как мы. Царь у них королем называется. Землю польскую захватил русский царь, чего-то они с королем не поделили... Ты спишь?

— Не-е.

— Спал бы. Мне ведь вставать с петухами. — Бабушка, чтобы скорее отвязаться от меня, бегом рассказала, что в земле этой далекой взбунтовались люди против русского царя, и их к нам, в Сибирь, сослали. Родители Васи тоже были сюда пригнаны. Вася родился на подводе, под тулупом конвоира. И зовут его вовсе не Вася, а Стася — Станислав по-ихнему. Это уж наши, деревенские, переиначили. — Ты спишь? — снова спросила бабушка.

— Не-е.

— А, чтоб тебе! Ну, умерли Васины родители. Помаялись, помаялись на чужой стороне и померли. Сперва мать, потом отец. Видел большой такой черный крест и могилу с цветками? Ихняя могила. Вася бережет ее, ухаживает пуще, чем за собой. А сам-то состарился уж, когда — не заметили. О Господи, прости, и мы не молоды! Так вот и прожил Вася около мангазины, в сторожах. На войну не брали. У него еще у мокренького младенца нога ознобилась на подводе... Так вот и живет... помирать скоро... И мы тоже...

Бабушка говорила все тише, невнятной и отошла ко сну со вздохом. Я не тревожил ее. Лежал, думал, пытаюсь постигнуть человеческую жизнь, но у меня ничего из этой затеи не получалось.

Несколько лет спустя после той памятной ночи мангазину перестали использовать, потому что построен был в городе элеватор, и в мангазинах исчезла надобность. Вася остался не у дел. Да и ослеп он к той поре окончательно и сторожем быть уже не мог. Какое-то время он еще собирал милостыню по селу, но потом и ходить не смог, тогда бабушка моя и другие старухи стали носить еду в Васину избушку.

Однажды бабушка пришла озабоченная, выставила швейную машину и принялась шить сатиновую рубашу, штаны без прорехи, наволочку с завязками и простыню без шва посередине — так шьют для покойников.

Заходили люди, сдержанными голосами разговаривали с бабушкой. До меня донеслось раз-другой “Вася”, и я помчался к караулке.

Дверь ее была распахнута. Подле избушки толпился народ. Люди заходили в нее без шапок и выходили оттуда вздыхая, с кроткими, опечаленными лицами.

Васю вынесли в маленьком, словно бы мальчишеском гробу. Лицо покойного было прикрыто полотном. Цветов в домовине не было, венков люди не несли. За гробом тащилось несколько старух, никто не голосил. Все свершалось в деловом молчании. Темнолицая старуха, бывшая староста церкви, на ходу читала молитвы и косила холодным зраком на заброшенную, с упавшими воротами, сорванными с крыши тесинами мангазину и осуждающе трясла головою.

Я зашел в караулку. Железная печка с середины была убрана. В потолке холодела дыра, по свесившимся корням травы и хмеля в нее падали капли. На полу разбросаны стружки. Старая нехитрая постель была закатана в изголовье нар. Валялись под нарами сторожевая колотушка, метла, топор, лопата. На окошке, за столешницей, виднелась глиняная миска, деревянная кружка с отломленной ручкой, ложка, гребень и отчего-то не замеченный мною сразу шкалик с водой. В нем ветка черемухи с набухшими и уже лопнувшими почками. Со столешницы сиротливо глядели на меня пустыми стеклами очки.

“А где скрипка-то?” — вспомнил я, глядя на очки. И тут же увидел ее. Скрипка висела над изголовьем нар. Я сунул очки в карман, снял скрипку со стены и бросился догонять похоронную процессию.

Мужики с домовиной и старухи, бредущие кучкой следом за нею, перешли по бревнам Фокинскую речку, захмелевшую от весеннего половодья, поднимались к кладбищу по косогору, подернутому зеленым туманчиком очнувшейся травы.

Я потянул бабушку за рукав и показал ей скрипку, смычок. Бабушка строго нахмурилась и отвернулась от меня. Затем сделала шаг шире и зашептала с темнолицей старухой:

— Расходы... накладно... сельсовет-то не больно...

Я уже умел кое-что соображать и догадался, что старуха хочет продать скрипку, чтобы возместить похоронные расходы, уцепился за бабушкин рукав и, когда мы отстали, мрачно спросил:

— Скрипка чья?

— Васина, батюшко, Васина, — бабушка отвела от меня глаза и уставилась в спину темнолицей старухи. — В домовину-то... Сам!.. -наклонилась ко мне и быстро шепнула бабушка, прибавляя шаг.

Перед тем, как люди собрались накрывать Васю крышкой, я протиснулся вперед и, ни слова не говоря, положил ему на грудь скрипку и смычок, на скрипку бросил несколько живых цветочков мать-мачехи, сорванных мною у моста-перекидыша.

Никто ничего не посмел мне сказать, только старуха богомолка пронзила меня острым взглядом и тут же, воздев глаза к небу, закрестилась: “Помилуй, Господи, душу усопшего Станислава и родителей его, прости их согрешения вольным и невольным...”

Ушел человек, и жизнь в этом месте остановилась. Но деревня-то жила, подрастали ребятишки, на смену тем, кто уходил с земли. Пока Вася-поляк был жив, односельчане относились к нему по-разному: иные не замечали его, как лишнего человека, иные даже и поддразнивали, пугали им ребятишек, иные жалели убогого человека. Но вот помер Вася-поляк, и селу стало чего-то недоставать. Непонятная виноватость одолела людей, и не было уж такого дома, такой семьи в селе, где бы не помянули его добрым словом в родительский день и в другие тихие праздники, и оказалось, что в незаметной жизни был Вася-поляк вроде праведника и помогал людям смиренностью, почтительностью быть лучше, добрей друг к другу.

Последней военной осенью я стоял на посту возле пушек в небольшом, разбитом польском городе. Это был первый иностранный город, который я видел в своей жизни. Он ничем не отличался от разрушенных городов России. И пахло в нем так же: гарью, трупами, пылью. Меж изуродованных домов по улицам, заваленным ломью, кружило листву, бумагу, сажу. Над городом мрачно стоял купол пожара. Он слабел, опускался к домам, проваливался в улицы и переулки, дробился на усталые кострища. Но раздавался долгий, глухой взрыв, купол подбрасывало в темное небо, и все вокруг озарялось тяжелым багровым светом. Листья с деревьев срывало, кружило жаром вверху, и там они истлевали.

Днем мы заняли город, а к вечеру откуда-то, словно из-под земли, начали появляться люди с узлами, с чемоданами, с тележками, чаще с ребятишками на руках. Они плакали у развалин, вытаскивали что-то из пожарищ. Ночь укрыла бездомных людей с их горем и страданиями. И только пожары укрыть не смогла.

Неожиданно в доме, стоявшем через улицу от меня, разлились звуки органа. От дома этого при бомбежке отвалился угол, обнажив стены с нарисованными на них сухощежими святыми и мадоннами, глядящими сквозь копоть голубыми скорбными глазами. До потемок глазели эти святые и мадонны на меня. Неловко мне было за себя, за людей, под укоряющими взглядами святых, и ночью нет-нет да выхватывало отблесками пожаров лики с поврежденными головами на длинных шеях.

Я сидел на лафете пушки с зажатым в коленях карабином и покачивал головой, слушая одинокий среди войны орган. Когда-то, после того как я послушал скрипку, мне хотелось умереть от непонятной печали и восторга. Глупый был. Малый был. Я так много увидел потом смертей, что не было для меня более ненавистного, проклятого слова, чем “смерть”. И потому, должно быть, музыка, которую я слушал в детстве, переломилась во мне, и то, что пугало в детстве, было вовсе и не страшно, жизнь припасла для нас такие ужасы, такие страхи...

Да-а, музыка та же, и я вроде бы тот же, и горло мое сдавило, стиснуло, но нет слез, нет детского восторга и жалости чистой, детской жалости. Музыка разворачивала душу, как огонь войны разворачивал дома, обнажая то святых на стене, то кровать, то качалку, то рояль, то тряпки бедняка, убогое жилище нищего, скрытые от глаз людских — бедность и святость, — все-все обнажилось, со всего сорваны одежды, все подвергнуто унижению, все вывернуто грязной изнанкой, и оттого-то, видимо, старая музыка повернулась иной ко мне стороною, звучала древним боевым кличем, звала куда-то, заставляла что-то делать, чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не жались к горящим развалинам, чтобы зашли они в свой дом, под крышу, к близким и любимым, чтобы небо, вечное наше небо, не подбрасывало взрывами и не сжигало адовым огнем.

Музыка гремела над городом, глушила разрывы снарядов, гул самолетов, треск и шорох горящих деревьев. Музыка властвовала над оцепенелыми развалинами, та самая музыка, какую, словно вздох родной земли, хранил в сердце человек, который никогда не видел своей родины, но всю жизнь тосковал о ней.

Это время

трудновато для пера.

Маяковский

Есть в голосе моём звучание металла.

Я в жизнь вошёл тяжёлым и прямым.

Не всё умрёт. Не всё войдёт в каталог.

Но только пусть под именем моим

Потомок различит в архивном хламе

Кусок горячей, верной нам земли,

Где мы прошли с обугленными ртами

И мужество, как знамя, пронесли.

Мы жгли костры и вспять пускали реки.

Нам не хватало неба и воды.

Упрямой жизни в каждом человеке

Железом обозначены следы –

Так в нас запали прошлого приметы.

А как любили мы – спросите жён!

Пройдут века, и вам солгут портреты,

Где нашей жизни ход изображён.

Мы были высоки, русоволосы.

Вы в книгах читаете, как миф,

О людях, что ушли, не долюбив,

Не докурив последней папиросы.

Когда б не бой, не вечные исканья

Крутых путей к последней высоте,

Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,

В столбцах газет, в набросках на холсте.

Но время шло. Меняли реки русла.

И жили мы, не тратя лишних слов,

Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных

Да в серой прозе наших дневников.

Мы брали пламя голыми руками.

Грудь раскрывали ветру. Из ковша

Тянули воду полными глотками

И в женщину влюблялись не спеша.

И шли вперёд, и падали, и, еле
В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.
А тот трубил, мир ни во что не ставя
(Ремень сползал с покатога плеча),
Он тоже дома женщину оставил,
Не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень твёрд, уступы каменисты,
Почти со всех сторон окружены,
Глядели вверх – и небо было чисто,
Как светлый лоб оставленной жены.

Так я пишу. Пусть неточны слова,
И слог тяжёл, и выраженья грубы!
О нас прошла всесветная молва.
Нам жажда зноем выпрямила губы.

Мир, как окно, для воздуха распахнут
Он нами пройден, пройден до конца,
И хорошо, что руки наши пахнут
Угрюмой песней верного свинца.

И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!

Михаил Кульчицкий «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!»

Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: «лейтенант»
звучит вот так: «Налейте нам!»
И, зная топографию,
он топает по гравию.

Война — совсем не фейерверк,
а просто — трудная работа,
когда, черна от пота, вверх
скользит по пахоте пехота.
Марш!
И глина в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног

наворачивается на чеботы
весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино.

Юрий Нагибин. Ваганов

...То было летошний год. Еще Ваганов с нами воевал, — сказал старшина Гришин.

- Никифор Игнатьевич, а где сейчас Ваганов? — спросил Коля Куриленков, пятнадцатилетний кавалерист, сын эскадрона.

Худое, как будто вылущенное лицо Гришина с вислыми усами стало нежным.

Алеша Ваганов врага в самое горло грызет. Он зверек не нам чета. У него война особая...

...То было летошний год. Еще Ваганов с нами воевал, — сказал старшина Гришин.

Никифор Игнатьевич, а где сейчас Ваганов? — спросил Коля Куриленков, пятнадцатилетний кавалерист, сын эскадрона.

Худое, как будто вылущенное лицо Гришина с вислыми усами стало нежным.

Алеша Ваганов врага в самое горло грызет. Он зверек не нам чета. У него война особая...

Да ведь Ваганова убили под Архиповской, — сказал я, но осекся под тяжелым взглядом Гришина.

Эх, товарищ лейтенант, молодой вы еще, и такие слова... Нешто Алеша Ваганов даст себя убить? Это ж подстроено все для военной тайны...

Высокий кабардин Гришина, подкидывая спутанные ноги, приблизился к хозяину и тонкой нервной губой шлепнул его по уху.

— Балуй, чертов сын...

Гришин повернулся на локоть, ухватил замшевую губу Кабардина, тряхнул и отпустил. Кабардин засмеялся, обнажив розовые десны и белую кость резцов, вызелененных травой.

— Вы, товарищ лейтенант, у нас без году неделя, — стараясь быть вежливым, продолжал Гришин, но взгляд его выдавал затаенный гнев, — а я Ваганова на коня садиться учил. Вот на этого самого Чертополоха. Нет у меня права военную тайну разглашать, а все же скажу: воюет Алеша в самой неметчине, бьет врага в спину, нам путь облегчает. Вот...

В словах Гришина звучала такая вера, такая убежденность в том, что Ваганов жив, что я показался самому себе мелким человеком...

Ваганова убили под Архиповской во время прорыва фронта. Увлеченный преследованием, он ворвался в деревню, запятому неприятелем. С ним был товарищ. Они могли спастись, но под товарищем убили лошадь. Он был схвачен гитлеровцами, прежде чем успел встать на ноги. Ваганов вернулся, чтобы умереть вместе с ним. Дрался он отчаянно. Уже мертвого, его всего истыкали клинками, танк протащил по его телу свою гусеницу. Ваганов был так изуродован, что никто не мог его признать, когда через час с небольшим в деревню ворвался эскадрон, ведомый самим генерал-майором Башиловым. Ваганова опознал лишь сам Башилов, его приемный отец. С бледным лицом, сведенным страшной гримасой боли, и пустыми глазами Башилов опустился на колени и поцеловал сына в обезображенный рот. Стянул с плеч бурку и осторожно, словно боясь разбудить, укрыл его.

В конце деревни еще слышалась стрельба — группа гитлеровцев засела в церковном подвале. Башилов поднялся с колен, коротким броском руки указал на церковь:

— Вперед! За нашего товарища...

Ваганова похоронили с воинскими почестями, а через несколько дней до бригаде пронесся слух, что он жив. Слух поддерживался и такими ветеранами, как Гришин, не верившими ни в бога, ни в черта, и доверчивыми юнцами, влюбленными в Ваганова.

Слух стал правдой эскадрона, правдой бригады, другой правды знать не хотели...

...Я видел Ваганова однажды. Кавалерийская часть генерала Башилова прорвала застоявшуюся оборону противника, я был «брошен» в прорыв вместе с другими корреспондентами нашей фронтовой газеты. Как и следовало ожидать, здесь всем было не до нас. Напрасно промучившись с полдня, мы сели в прифронтовой деревушке.

Я обосновался в большой чистой избе на краю деревни. Старушка хозяйка принесла горячей молодой картошки, самовар и чайник с настоем «гоноболя». Привычна, но, как всегда, до боли обидна была бедность прифронтовой деревни, живущей под огнем в какой-то очумелой покорности, со своими пустыми закутками и обезголосевшими насестами. Источник жизни этих деревень один — воинские части, прохожие и проезжие солдаты и офицеры, несущие с собой надежду, запах жизни, неизменное гороховое пюре и комбижир.

Я выложил свой припас и пригласил старушку к столу. Но она предпочла «сухой паек» и, получив его, скрылась за печку. Я присел к окну и стал пить зеленоватый, и цветом и вкусом напоминающий лекарство чай.

Под окном росла береза. Она была расщеплена миной, половина ее, черная и засохшая, умерла, другая, склоненная к земле, зеленела свежим глянцевым листом. Под этой березой на скамейке собралась компания: танкист в промасленном комбинезоне, с гармонью на потертном ремне, белобрысый сапер, два шофера со свежими розовыми лицами в черной рамке отмытой к вискам и шее грязи, несколько девиц в цветастых платьях и калошах. Выходя на круг, девицы снимали калоши, оттопав положенное, снова надевали их и отходили в сторону. Из кавалеров неплох был белобрысый сапер. Но то ли гармонист был лишен огонька, то ли танцоры вяловаты, а только в пляске не чувствовалось размаха, она казалась бледной и натужной, как повинность.

Подошла хозяйская дочка и тяжело, с лендой, опустилась на лавку у окна. У нее было большое красивее лицо. Казалось, она ощущает свою красоту как бремя. Усталость чувствовалась в ее чуть опущенных плечах, тяжелых веках, более смуглых, чем щеки и лоб.

— Что же вы не танцуете? — спросил я.

— Очень нужно, — ответила она, не повернув головы.

Она глядела мимо пляшущих, на потонувший в рослых травах погост с тремя светлыми, белесо-матовыми липами, словно искупавшимися в молоке.

По правую руку широкая деревенская улица выливалась в большак. Близ устья большака голубела огромная лужа, в которой с надсадным воем, похожим на гуд пчелиного роя, тонул тупорылый «студебеккер». Два всадника, расплескав лужу, вынеслись на околицу и, завернув коней, осадили их у нашего дома.

Один из них, кургузый, спешил, кинул поводья своему спутнику и, грузно переваливаясь на толстых ногах, заковылял к двери. Испуганно охнула, сорвавшись на низах, гармонь, вскочил танкист, отдавая честь. Как пружиной подкинуло с присядки белобрысого сапера.

— Отдыхайте, отдыхайте! — ворчливо бросил тучный кавалерист.

Шаги его глухо прозвучали по земляному полу сеней, запахнулась дверь, и я увидел красное лицо, сердитые глаза и кургузую, с наклоном вперед, фигуру грозного генерала Башилова.

Я встал.

— Кто такой? — недовольно, в упор спросил, словно выстрелил, Башилов.

— Из фронтовой газеты...

— Писатель, — усмехнулся он, показав крупные желтые зубы. — Харчуйтесь, писатель.

— Может, мне уйти, товарищ генерал?

Сердитые глаза Башилова набухли кровью.

— Сказано, харчуйтесь! Помешаете, сам выгоню!

Вскоре он вышел в голубой трикотажной рубахе и брюках с лампасами. Наклонив голову под стерженек рукомойника, стал поливать шею с толстым вздутием у затылка, побряхтывая и ворча. Казалось, он чем-то недоволен и раздражен: вода ли недостаточно холодная, рукомойник ли слишком скупно выпускает воду.

Дверь запахнулась, в горницу стремительно шагнул высокий кавалерист, прибывший вместе с генералом. Крыло бурки зацепилось за косяк, полы разлетелись, обнаружив в своем нутре тонкую, как тростина, юношескую фигуру.

— У Рябчика ссадина на цевочке, товарищ генерал! — сказал он звонко.

— А я тебе что говорил? Подорожнику надо приложить.

— Сделано, товарищ генерал! — блеснул тот радостной улыбкой.

Генерал, ожесточенно вытиравший суровым полотенцем лицо и шею, вместе с высоким кавалеристом прошел за печь. Я услышал их тихий разговор.

— Испугался я нынче за тебя, Алеша. Больно уж ты горяч...

Этот голос, как будто вобравший в себя все тепло мира, поразил меня. Неужели обладатель его тот самый Башилов, чей ворчливо-недовольный бас я слышал несколько минут назад?

— Ну что ты, отец. Ты же знаешь, меня пуля не берет!

— Не берет, не берет... А только смотри, ты у меня один, — с трещинкой хрипотцы сказал голос.

Скрытая нежность — эта обычная изнанка суровых душ — казалась мне поразительной в Башилове. Один из самых лихих рубак конного корпуса, Башилов был уважаем всеми, но никем не любим! А между тем он обладал всеми качествами, которые привлекают к командиру сердца подчиненных. Он был заботлив, справедлив и совершенно немелочен в своей требовательности. Нигде не жилось солдатам лучше, чем в бригаде Башилова, но он был замкнут и суров. Говорили, что Башилов потерял семью в первые дни войны...

Ваганова генерал подобрал на Полтавщине, когда бригада с боями вырвалась из окружения. Ваганов спал в придорожной канаве, положив голову на кулак, рядом с ним валялось странное самодельное оружие: кухонный нож, всаженный в длинную толстую палку. Мальчишка дрожал и плакал во сне, но, разбуженный прикосновением руки генерала, сразу вскочил, со злобным блеском мгновенно проснувшихся глаз схватился за свое оружие. Оказалось, он поджидал гитлеровцев. Поджидал двое суток и, не выдержав, уснул. Его мать и сестренки погибли от вражеской бомбы в доме, когда он лежал на огороде, чтоб лучше видеть бомбежку. Говорил мальчишка неохотно, каждое слово приходилось рвать из него чуть не клещами.

— Пропадет малец зазря, — сказал адъютант генералу, — может, возьмем его с собой?..

Генерал ничего не ответил, он только хмуро пощипывал жесткую щетину усов. Зато сказал Ваганов, бледными страстными глазами дерзко глядя прямо в лицо генералу:

Вы тикаете — и тикайте! А мне фашистов убивать надо!

Дурак, — с удивившей адъютанта мягкостью про говорил генерал, — убивать вышел, а сам дрыхнешь в канаве. Да и кого ты такой вот убьешь? Идем с нами, мы тебя научим воевать. Это вот, — он тронул висящую на боку шашку, — получше твоей орясины.

Мальчишка с жадностью взглянул на шашку.

— А мне такую дадите?

— Покажешь себя — свою отдам!.. Два мрачных лица: одно — совсем юное, со следами недавних слез, другое — сухое и старое, — тронулись улыбкой...

Определив Ваганова во второй эскадрон, генерал, казалось, забыл о нем совсем. Только через год призвал он его к себе, показал свой знаменитый удар, разымающий человека надвое, и усыновил. В течение всего этого года генерал незаметно для окружающих внимательно следил за Вагановым. Он укрепился в своей начальной догадке, что в этом юноше горит огонь более сильный, чем в других оскорбленных душах...

— Все-таки побереги себя, Алеша, — говорил генерал. — Не век же тебе убивать. С твоей душой далеко шагнуть можно.

Я не слышал ответа Ваганова, слышал, как генерал спросил:

— Неужто не перебродил еще?

— Нет, — со смехом ответил Ваганов. — Разгуляться не пришлось. Заорали: «Гитлер капут!» — и с лошадей долой. Зря шашку вынимал: порубать-то почти и не пришлось!

Ваганов вышел из-за печи и, развязав тесемки, скинул бурку на лавку. Она легла, свернувшись, словно отдыхающий зверь. Ваганов был строен и гибок, как хлыст. Он выглядел щеголем, хотя на нем была самая обычная солдатская одежда, довольно поношенная, с крестиками штопок. Но она так ладно облегалась его тело, так покорно следовала каждому движению мышц, как это никогда не бывает с казенной одеждой.

Все же вначале я увидел только очень стройного и очень молодого кавалериста. Натуру Ваганова я понял чуть позднее, почувствовав исходящую от него, как ток, нервную, страстную силу, которой была пронизана каждая клеточка его тела.

Скрытое напряжение страсти, его невероятная чуткость обнаруживались даже не в слове, не в жесте, а в чуть заметных волнах крови под тонкой кожей, невольном посверкивании глаз, взмахе ресниц, каких-то нежных тенях, пробегающих по его очень юному лицу.

Ваганов вышел из избы и присоединился к танцующим.

— Что так скучно, ребята?

— Давай веселей, если можешь, — отозвался гармонист.

— Да ты не потянешь, — подзадорил Ваганов.

Оно конечно, нам, псковским, куда до вас, рязанских! — протянул гармонист, вскинул голову и на весь размах растянул мехи. Словно вздохнула от обиды душа музыканта, разом прорвалась к живому звуку. Пошла, пошла гармонь, то обмирая в робком дыхании, то взвихриваясь вызовом и задором.

У Ваганова опьянели глаза, он бросился а пляску, как в бой. В его пляске была какая-то нежная жесточенность.

— Давай! — кричал он гармонисту.

А тот, закаменев лицом, все быстрее и быстрее бросал пальцы по клапанам, выламывал плечи, сердясь и изнемогая в борьбе с танцором.

Ваганов ударил о землю коленом перед одной из девиц. Та засмушалась для порядка и вышла на круг, заломив одну руку к затылку, другую отведя, как для защиты, и поплыла вокруг бешено кидающего в присядке ноги кавалера.

— Ходи веселей! — кричал Ваганов.

— Куда Нюшке против него держаться, — сказала красивая дочь хозяйки.

И, словно услышав эта презрительные слова, Нюшка бочком-бочком вышла из круга. Верно, и она почувствовала свое несоответствие кавалеру.

Ваганов вскочил, развел руками.

— Эх, какой все народ холодный!..

Взгляд его упал на наше окно. Лицо хозяйской дочери вспыхнуло. Словно подчиняясь молчаливому приказу, она спустила с плеч шаль и вышла на улицу. Казалось, вместе с шалью она сняла и тяготившее ее бремя. Куда только девалась ленца, вся живая юность радостью вспыхнула в ней.

И все почувствовали: вот два достойных партнера, или, вернее, противника. Это слово точнее определяет характер отношений пары в русской пляске, где вызов ярче соединения, где заман ведет к отстранению, в пляске, пронизанной борьбой, гордостью, непокорством.

Она знала: противник может завихрить ее, сбить, одолеть, как Нюшку, если она попытается сравняться с ним в быстроте. Она пошла плавно и неспешно, уравниваясь с ним в силе чувства, единственно дающего согласие в танце. Одно движение плеча, взлет ресниц — и они равны; притоп ногой, неожиданный с разлетом юбки поворот — и уж не ей, а Ваганову приходится разжигать свой огонь, чтоб не отстать в страсти.

Они были равны друг другу. Он шел всюду, куда она его звала. Путь его был не легкий. Горы, реки, пропасти, дремучие леса метала она ему под ноги. Но он не боялся трудных путей. Птицей проносился он над всеми препятствиями и, настигая, кричал:

- А ну еще!..

И ни один из них не уступил в этом поединке. Сдался третий: гармонист.

— Дай пощаду, кавалерист, — сказал он, отнимая от гармонии упрежденное до красноты лицо.

— Неужто уже все? — спросил Ваганов. — Вишь, я сухой совсем.

— Если ты и воюешь, как пляшешь, ценный ты человек, — сказал белобрысый сапер.

Ваганов засмеялся.

— Ну, воюю я с цельной душой, пляшу с остаточков...

Последнее, что я заметил, отправляясь спать на сеновал, было лицо хозяйской дочери. Прелесть его не замыкалась более в грубой определенности черт, а уходила в простор, как сияние.

Я спал на сеновале. Было за полночь, когда пришел Ваганов. Он был не один. Я услышал тихий разговор.

— Спокойной ночи, хороших снов, — говорил Ваганов, вскарабкиваясь по лестнице.

— Что ж так скоро, Алеша? — с тоской проговорил грудной женский голос.

Ваганов остановился, мне видна была его рука, вцепившаяся в балку.

— Нельзя мне, понимаешь, нельзя. А то пропаду совсем. Я себя ни до какой такой жизни не допускаю...

— Постой, Алеша, — просил женский голос. — Ведь, может, не свидимся больше!..

— Нельзя! — Рука Ваганова сильнее вцепилась в балку. — С вашим братом осторожней надо. А то забудешь все...

— Видать, много вы нашего брата перевидали, — ревниво сказала девушка, — то-то вы такие нежадные...

— Если дождешься, первой будешь.

— Ой ли?

— В глаза погляди — вру я?..

— А долго ждать-то? — спросила девушка, и в голосе ее была печаль и немного насмешки.

— До победы! — Ваганов засмеялся, поцеловал девушку и быстро вскарабкался на сеновал. Через минуту я уже чувствовал его горячее дыхание около своего лица.

...Ваганов спал, врывшись руками в солому. Сквозь окошко в крыше на него падал зеленоватый свет месяца. Ему снились какие-то сны, он улыбался, вскрикивал, не глухо, как спящий в мучительной душной возне подсознания, а ясно и звонко; раз он вырвал руку из соломы и косо резанул ею воздух. Казалось, и во сне он живет с той же страстной напряженностью.

Под утро пришла хозяйская дочь, босая, на плечах старенький полушубок. Она наклонилась к Ваганову, долго глядела на него, поцеловала его закрытые глаза и сошла вниз...

Я проснулся рано, еще только светало, и подумал, что постыдно упускаю превосходный материал, сам давшийся мне в руки. Но Ваганова уже не было рядом. Я спустился вниз и увидел хозяйскую дочь, строгую, прибранную; она сидела у окна и глядела на дорогу...

Евгений Носов. Переправа

Прошло то лето в стремительном наступлении. Еще в конце июня наша батарея вела огонь с плацдарма на берегу Днепра, а уже к сентябрю, продвинувшись чуть ли не на шестьсот километров, подступили к Польше.

Впереди над черепичными крышами и зелеными кущами городков и местечек, стали маячить непривычные силуэты темных готических костелов, начиналась иная земля, и в частях царило возбужденное оживление: Европа!

В одну из коротких передышек старшина выдал нам свежее обмундирование взамен вконец износившегося, комбат, оглядев построенную батарею, приказал всем постричься, побриться и начистить сапоги.

Но уже на другой день новые гимнастерки да и мы сами запылились до прежней обыденности. Войска валили нескончаемым потоком. В клубах дорожной пыли грохотали танки, артиллерия, шли зачехленные «катюши», оседали под тяжестью боеприпасов грузовики, скрипели конные обозы со всякой солдатской пожитью. А мимо, уступая главную дорогу технике, по обочинам и тропкам все топала и топала матушка-пехота.

Иногда от нечего делать кто-нибудь задевал с машин:

— Эй, пехота! Сто верст прошла — еще охота! Давай сюда, перекурим.

Однако усталые, взмокшие пехотинцы, обвешанные скатками, подсумками, саперными лопатками, молча и сосредоточенно продолжали гуськом обтекать забитую машинами дорогу.

Но вот за пыльной, прореженной обстрелом рощицей вдруг открылась какая-то река с понтонной переправой. С высокого склона нам было видно, как скопившиеся войска вздулись гигантским клубком, из которого медленно выпутывалась узенькая лента машин и орудий и, вытянувшись по переправе, устремлялась на ту сторону.

— Все, братцы, припухаем... — заметил один из батарейцев, опасливо озираясь по сторонам. — Не хватало еще немецких пикировщиков.

— Прошло их время, — отозвался другой. — Гляди-ка!

Над переправой пронеслась четверка «лавочкиных» — недавно появившихся на фронте скоростных истребителей, прикрывавших с воздуха это уязвимое и опасное место.

Сидеть на застрявших машинах, время от времени продвигавшихся на десяток-другой метров, вскоре наскучило, и мы с командиром нашего орудия старшим сержантом Боярским прыгнули за борт. Нам не терпелось поскорее спуститься к реке, попить заграничной водицы, умыться и просто так полежать на зеленом лужку до той поры, пока пустят на переправу и нашу батарею.

Внизу, на въезде, шумел, размахивая руками, запаренный и охрипший капитан. По красной повязке на рукаве кителя мы догадались, что это был сам начальник переправы. Его осаждали шоферы и ездовые, напирали со всех сторон, что-то кричали и требовали, но он, увертываясь и ошалело мотая головой в запыленной фуражке, неприступно твердил:

— Ничего не знаю! Ничего не знаю!

Он только что пропустил на мост колонну тяжелых гаубиц и, заглядывая в блокнотик, преодолевая шум и галдеж, сипло вызывал:

— Триста восьмой полк! Где триста восьмой?! Пехота триста восьмого, не спрашивая разрешения, уже давно была на той стороне, но полковые обозы, оттесненные мехчастями, съехали на берег и только теперь, дождавшись своей очереди, на рысях начали выкатываться из прибрежных лозняков. Погромыхивали походные кухни, некоторые уже кадившие дымком, зеленые армейские фуры и просто крестьянские телеги, нагруженные патронными цинками, санитарными носилками, мешками с крупой и сухарями, тюками прессованного сена. Кони тоже были далеки от прежних кадровых стандартов — иные подомашнему под дугой, с веревочными вожжами, мослатые, вислобрюхие, с бабьими распущенными косицами по глазам, — неказистые обозные лошаденки, невесть где добытые за время долгого наступления из глубины России. Начальник переправы, поглядывая на них, хмуро кривился, должно быть оттого, что вынужден был пропускать такую пеструю обшарпанную базарщину на ту сторону. Казалось, будь его воля, он завернул бы весь этот колхоз, свалил бы в кучу и поджег к чертовой бабушке. Но война не признавала никакой эстетики, и по ребристому настилу моста, разя дегтем и конским потом, обыденно и скучно затарахтели обозные телеги.

И вдруг начальник переправы, всякое повидавшим, вздрогнул и обалдело вытаращил глаза: над задком очередной повозки, покачиваясь из стороны в сторону, возвышалась над сенными тюками какая-то лошадиная не лошадиная, баранья не баранья, а черт знает какая морда с круглыми ушами и рыжим кудлатым коком.

— Стой! Стой! — Капитан сорвался с места и вскинул руки запрещающим крестом. — Стой, говорят!

Ездовые, не понимая, в чем дело, недоуменно натянули вожжи, затпрукали, обоз остановился. На крик повалили любопытные. Вскочили с лужайки и мы с Боярским.

— А это еще что такое? — доносился голос начальника переправы.

Над толпой, что-то жуя, шевеля дряблыми синими губами, рыжим валенком торчала голова верблюда. Протиснувшись, мы увидели длинную телегу с решетчатыми бортами, сквозь которые выглядывало несколько станковых пулеметов.

Коренастый, дочерна загорелый возница, похожий на фотографический негатив еще и оттого, что на нем сидела почти добела выцветшая пилотка, непонимающе мигал белыми ресницами.

— Что еще за новость? — гневно добивался начальник переправы, тыча блокнотом в сторону верблюда, должно быть олицетворяющего в его глазах крайнюю разболтанность и беспорядок. — Тебя спрашивают!

— Сами видите... Верблюд это... — промямлил наконец обозник.

— Какой еще верблюд?! — побагровел капитан оттого, что животное это было все-таки названо со всей очевидной определенностью. — Какой еще, спрашиваю, верблюд?! Ты бы мне еще корову в оглобли поставил... Заворачивай к едреной фене!

— Как же так, товарищ капитан...

— А вот так! Никаких верблюдов!

— Мне назад никак нельзя. У меня пулеметы.

— Ничего не знаю!

Возница растерянно посмотрел на собравшихся.

— Товарищ капитан...

— Все! Все! Не задерживай мне движение, а то вызову караульных. Совсем разболтались, понимаешь,.. Армия это тебе или цыганский табор? Да ты хоть соображаешь, кочанная твоя голова, куда вступают наши войска? Перед нами

Европа, вот она, а ты прешься со своим верблюдом, позоришь Советскую Армию. Тьфу!

Капитан ожесточенно сплюнул и брезгливо окинул воспаленными от колготы и бессонницы глазами громоздкую скотину в лохмах бурой шерсти на опавших горбах и тощих ляжках, столь нелепую здесь, на фронтовой дороге. Верблюд же продолжал с буддийским спокойствием перекидывать из стороны в сторону нижнюю челюсть, как бы по-своему, по-верблюжьи пренебрегая людской суетой и перебранкой и даже тем обстоятельством, что перед ним простиралась Европа — за тысячи верст от его родных колючек и солончаков.

— Хороши, скажут, освободители... — продолжал распалиться капитан. — И куда только командир смотрит? Такой же, наверное, разгильдяй.

Неожиданно по всему спуску, забитому войсками, вспыхнула какая-то суматоха. Разбредшиеся было артиллеристы опрометью бежали к своим орудиям, пехотинцы спешно строились в колонны, командиры, придерживая планшетки, торопились к своим подразделениям.

По склону, пробираясь сквозь сгрудившиеся войска, спускались две черные «эмки». И вот уже до переправы донеслось сдержанное и настороженное:

— Командующий! Командующий едет!

Капитан торопливо одернул китель и, погрозив ездовому пальцем: «Вот я тебя! Чтоб духу твоего здесь не было!» — побежал от моста.

Перепуганный обозник задергал вожжами, зачмокал: «Чоп! Чоп!», но пока все это дошло до верблюда, пока тот раскачивал свои долгие ходули и потом неспешно воротил телегу на сторону, и вовсе перегородив ею въезд на переправу, — где-то совсем рядом уже хлопнули автомобильные дверцы. Сквозь ряды солдат, замерших по стойке «смирно», к предместью направлялась группа генералов и штабных офицеров. Среди них, возвышаясь над остальными чуть ли не на голову, шел ладный, молодцеватый генерал с крутым разлетом бровей под алым околышем фуражки. Это был сам Рокоссовский.

Начальник переправы, выбрасывая носки пыльных брезентовых сапог, хватил строевым и, шлепнув задниками в пяти метрах перед командующим, запел хриплым речитативом:

— Товарищ командующий! Вверенные вам войска ведут переправу через...

— В чем дело, капитан? — остановил его Рокоссовский. — Что за базар на переправе?

Начальник переправы, вытянув руки по швам, мельком обернулся, пытаясь удостовериться, стоит ли этот распроклятый верблюд. Но командующий уже заметил злополучного зверя и, обходя капитана, вместе с остальными генералами и офицерами направился к повозке, возле которой, спрыгнув на землю, стоял ни жив ни мертв вконец перепуганный возница.

— Верблюд, товарищ командующий, — семеня сбоку, пытался пояснить ситуацию начальник переправы.— Я ему: нельзя, а он не понимает...

Командующий, подойдя к повозке, со вниманием оглядел верблюда. На его живом лице обозначались мальчишеское любопытство и удивление:

— Каков, а? — обернулся он к генералам. — Философ! Ну и почему вы его не пропускаете, капитан?

— Прямое политическое недомыслие, товарищ командующий! Мы теперь не у себя дома, чтобы ездить на чем попало. Его здесь и сфотографировать могут, и вообще... А потом пойдет по газетам, поднимут шумиху, русские, мол, выдохлись, на верблюдах воюют...

— Да-а, политическое недомыслие. — Рокоссовский вскинул бровь. — Какой части, солдат?

— Ездовой Товарняков, второй роты, второго батальона, триста восьмого полка.

— Какая армия?

— Шестьдесят пятая, товарищ командующий.

— Сталинградец, значит?

— Так точно, товарищ генерал армии!

— Выходит, вместе воевали. Ну а верблюд у тебя откуда?

— Тоже оттуда, из тех мест.

— Что же ты на лошадей не поменяешь?

— Да где ж их было взять? — развел руками ездовой. — Моих под Сталинградом побило, я и запряг вот его. А теперь и менять жалко, привык. Еду — доеду. Вон уж сколько проехано вместе. Хотели его на мясо забить, да я не дал. Чего ж его забивать — исправный, не хромает.

Командующий усмехнулся, снова с интересом посмотрел на верблюда.

— Но не по уставу ведь, а? Вот и начальник переправы не пускает...

— Дак, товарищ командующий! Верблюд, ежели разобраться, он получше лошадей будет. Он у меня вроде долгоиграющий.

— Какой, какой?

— Недельного заводу, — оживился солдат. — Лошадь кажинный день есть-пить просит. А этот и день идет, и неделю — ничего не требует. Вот как под Волковысском охапку веников съел, так и по сей день. А уже которы сутки в походе. Очень экономная скотина.

— М-да... Ну вот что, капитан. — Командующий похлопал верблюда по мягкой шее. — Нечего нам перед Европой стыдиться. Кроме этого верблюда вон у нас еще какая техника — мостов не хватает. Кстати, сегодня же начинайте наводить новую переправу. Тут же рядом, чтобы в два потока.

— Есть! — вытянулся капитан.

— А верблюда пропустите, пропустите. Пусть в Европе смотрят и на него. И кое-кто лишний раз вспомнит, что мы пришли от самых стен Сталинграда.

Обрадованный ездовой, забежав вперед, схватил верблюда за повод.

— Пстой, — удержал его Рокоссовский. — Что же ты - сталинградец, а наград не вижу? С пустой грудью вступаешь в Европу. Иль воевал плохо?

— Так ведь... — Ездовой дернул погонями. — В обозе я... Какие награды?

Рокоссовский обернулся к адъютанту:

— Запишите-ка бойца. Сообщите в полк, пусть представят.

Верблюд, не внемля ничему, все в том же невозмутимом раздумье продолжал глядеть поверх переправы на затуманенные шпили готического собора.

— Ну, солдат, догоняй, догоняй своих. Не задерживай движение. До встречи в Берлине!

И командующий, улыбнувшись, взял под козырек.

Борис Зайцев. Легкое бремя

-- Как же, как же, Марсель знаю, и даже, по совести говоря, не совсем так, как вы. То есть, не то чтобы очень любовался видом от Собора тамошнего, на горе, моряцкого, или же буйабесы сравнивал, в каком ресторане лучше, сидя на набережной, вновь пред синим этим морем... Мне Марсель тяжеле дался, Бог с ним. Я там восемь месяцев служил чернорабочим, поезда разгружал. Ну и занятие, я вам скажу.

Он разгладил черную, двумя крылами, видимо, полковницкую бороду.

-- Поработали. Нас на "Марселе-товарном" целая артель подобралась, все русских. Офицеры и судейские, бывшие учителя, студенты, всякие. Н-н-да... Немало я на своей спине разного добра перетаскал. Однажды даже кровь горлом двинула, с натуги, что ли... Нет, если бы не выбрался, с Божией помощью -- наверное, теперь не разговаривал бы тут. В моих годах, изволите ли видеть, уж не так и к жизни рвешься, но семья, детишки, это, знаете ли, очень дело пронзительное, да-с, в нашем положении все так и думаешь: нет, помирать нельзя, стой столбом, ломи горбом, а только не поддавайся. Иной раз через улицу идешь, автомобиль летит -- ан нет, не может меня, мерзавец, задавить, никак не может, у меня четверо на руках, что ж им, на улицу идти?

В Марселе я всякого навидался, и не приведи Бог. Пьяные матросы, поножовщина и разврат в порту, и дети -- этого я всего не выношу, терпеть не люблю, как говаривал наш бригадный генерал из немцев, царствие ему небесное, мученической смертью погиб. Ну, а все-таки вот и вспомнилось мне одно -- так, один вечер выдался у нас у всех особенный.

Полковник закурил, поправил на пальце большой перстень с печаткою.

-- Дело это было весной, на Страстной неделе, в самое для нашего брата на чужбине трудное время, потому, знаете, воспоминания одолевают... и березки наши распускающиеся, разлив, куличи, пасхи, и сама весна русская, весенний воздух... здесь же воздух, может быть, еще слаже и нежнее с моря, и самое море в эти дни особенно сиреневое, и когда ночью над ним белые и голубые огни сияют, то, конечно, красота замечательная, но не то... Хорошо-с, вот мы все эти "бывшие-то", а ныне как бы каторжные, и работаем, как всегда, мешки с зерном таскаем -- взвалишь на спину, еле дышишь и по тропочке знакомой так, согнувшись в три погибели, и бежишь, только чтобы добежать и от ноши от своей избавиться. Вот нам и говорит контр-мэтр, француз: "Хотите, русские, в России побывать?" -- "То есть, как это, мол, так, в России, когда здесь ваша страна, французская?" -- "Да уж так, -- говорит, -- она хоть и наша, а все-таки тут и Россия есть. Идите-ка, смотрите".

Ну, разумеется, все наши побросали работу, за ним идут. Он на запасные пути, там товарные вагоны, целый поезд, только что пришел из порта. Отворили первый вагон -- как всегда, мешки. Контр-мэтр велел один снять и развязал. "Вот она и есть, -- говорит, -- ваша Россия. Это пшеница русская, из Одессы".

Русская... Как сейчас помню, вечерело.

Звездочки уж показались первые. Паровозы кое-где посвистывают, на море сирена воеет, ветерком теплым тянет -- а вдруг сразу так тихо стало, наши все обступили... все к зерну тянутся... А кто на колени стал, руки в мешок запускает, гладит... И молчим все. Шапки снимали, только зернышко всё ласкаем, с руки на руку пересыпаем, а зерно, правду вам сказать, золотое. Теплое, янтарное зерно. Тут казак один кубанский прямо наземь кинулся, носом в пшеницу в эту уткнулся, у самого на глазах слезы, все дышит, нюхает -- не нанюхается... "Господи, -- закричал, -- Мати Божия, да то ж зерно наше, кубанское..." И даже голос перехватило. Ну, знаете, долго так вокруг стояли, народ бывалый, тертый, мало чего не видели, да, а тут... всё что-то глаза утирали.

Полковник остановился, вновь погладил лирообразную свою бороду, помолчал, пыхнул трубкою.

-- Потом мы пшеничку эту самую, нашу расейскую, на себе, конечно, таскали, все на тех же наших спинках -- уж не очень ноне барских. Но и таскать легче было. Вот вам и загвоздка. Вес все тот же, силы те же, а бежишь и только знаешь: это наша, матушка, родимая... И сколько натерпелись на родной земле, и сколько гнева, ненависти в сердце, ужаса, а тут вот как-то отошло, ну и душе стало полегче, освежительнее...

Я вообще вам скажу, я тогда этот случай понял не совсем спроста -- да и не я один. Ну, что особенного? Понятное дело, в Марсель русскую пшеницу возили, и как нам не наткнуться на нее? Все-таки же показалось это доброй вестью, благою вестью. Точно бы и нас вот, вовсе уж заброшенных, нагих и сырых, осенил крылом Ангел Господень, и святое Его перышко на нас упало.

"Бог дал жизнь, Бог даст и хлеб" -- и представьте, ведь недолго мы с той Пасхи промытарились на этой каторге. Оно и сейчас нелегко, ну, кое-куда разбрелись, кое-как пристраиваемся, кто чем... И даже дети наши учатся. Вот-с... а Марсель... Нет, Бог с ним.

Аркадий Аверченко. Русское искусство

— Вы?

— Я.

— Глазам своим не верю.

— Таким хорошеньким глазам не верить — это преступление.

Отпустить подобный комплимент днем на Пере, когда сотни летящего мимо народа не раз толкают вас в бока и в спину, для этого нужно быть очень светским, чрезвычайно элегантным человеком.

Таков я и есть.

Обладательница прекрасных глаз, известная петербургская драматическая актриса, стояла передо мной, и на ее живом лукавом лице в одну минуту сменялось десять выражений.

— Слушайте, Простодушный. Очень хочется вас видеть. Ведь вы — мой старый милый Петербург. Приходите чайку выпить.

— А где вы живете?

Во всяком другом городе этот простой вопрос вызвал бы такой же простой ответ: улица такая-то, дом номер такой-то.

Но не таков городишко Константинополь.

На лице актрисы появилось выражение небывалой для нее растерянности.

— Где я живу? Позвольте. Не то Шашлы-Башлы, не то Биюк-Темрюк. А может быть, и Казанлы-Базанлы. Впрочем, дайте мне лучше карандаш и бумажку, я вам нарисую.

Отчасти делается понятна густая толпа толкущихся на Пере. Это все русские стоят друг против друга и по полчаса объясняют свои адреса: не то Шашлы-Башлы, не то Бабаджан-Османды.

Выручают обыкновенно карандаш и бумажка, причем отправной пункт — Токатлиан [Площадь в Константинополе. (Прим. ред.)]. Это та печка, от которой всегда танцует беженец.

Рисуются две параллельных линии — Пера. Потом квадратик — Токатлиан. Потом...

— Вот вам, — говорит актриса, чертя карандашом по бумаге, — Токатлиан. От этой штучки вы идите налево, сворачивайте на эту штучку, потом огибаете эту штучку, и тут второй дом, где я живу. Номер двадцать два. Третий этаж, квартира барона К.

Я благоговейно спрятал в бумажник этот странный документ и откланялся.

На другой день вечером, когда я собрался в гости к актрисе, зашел знакомый.

— Куда вы?

— Куда? От Токатлиана прямо, потом свернуть в эту штучку, потом в другую. Квартира барона К.

— Знаю. Хороший дом. Что ж это вы, дорогой мой, идете в такое аристократическое место — и в пиджаке?

— Не фрак же надевать.

— А почему бы и нет? Вечером в гостях фрак — самое разлюбленное дело. Все-таки это ведь за граница.

— Фрак так фрак, — согласился я.

Оделся и, сверкая туго накрахмаленным пластроном фрочной сорочки, отправился на Перу танцевать от излюбленной русской печки.

Если в Константинополе вам известна улица и номер дома, то это только половина дела. Другая половина — найти номер дома. Это трудно. Потому что седьмой номер помещается между двадцать девятым и четырнадцатым, а шестнадцатый скромно заткнулся между сто двадцать седьмым и девятнадцатым.

Вероятно, это происходит оттого, что туркам наши арабские цифры неизвестны. Дело происходило так: решив перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их в кучу на главной площади. А потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, закорючки и загогулины которого приходились ему более по душе.

Искомый номер двадцать два был сравнительно приличен: между двадцать четвертым и тринадцатым.

На звонок дверь открыла дама очень элегантно вида.

— Что угодно?

— Анна Николаевна здесь живет?

— Какая?

— Русская. Беженка.

— Ах, это вы к Аннушке! Аннушка, тебя кто-то спрашивает.

Раздался стук каблучков, и в переднюю выпорхнула моя приятельница в фартуке и с какой-то тряпкой в руке.

Первые слова ее были такие:

— Чего тебя, ирода, черти-то по парадным носят? Не мог через черный ход приттить!

— Виноват, — растерялся, — сказали...

— Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня. Я его допрежь того в Петербурхе знала. Иди уж на кухню, раздевайся там. Недотепа!

Кухня была теплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантно фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее.

— Ну, садись, кум, коль пришел. Самовар, чать, простыл, но стакашку еще нацедить возможное дело.

— А я вижу, вы с гранд-кокет перешли на характерные, — уныло заметил я, вертя в руках огромную ложку с дырочками.

— Чаво? Я, стал-быть, тут у кухарках пристроилась. Ничего, хозяева добрые, не забижают.

— На своих харчах? — деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска.

— Хозяйские и отсыпное хозяйское.

— И доход от мясной и зеленой имеете?

— Законный процент (в последнем слове она сделала ударение на «о»). А то, может, щец похлебаешь? С обеда осталось. Я б разогрела.

Вошла хозяйка.

— Аннушка, самовар поставь.

Во мне заговорило джентльменство.

— Позвольте, я поставлю, — сказал я, кашлянув в кулак. — Я мигом. Стриженная девка не успеет косы заплести, как я его ушкварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите, куда насыпать уголь и куда налить воды.

— Кто это такой, Аннушка? — спросила хозяйка, с остолбенелым видом разглядывая мой фрак.

— Так, один тут. Вроде как сродственник. Он, барыня, тихий. Ни тебе напиток, ни тебе набезобразить.

— Вы давно знакомы?

— С Петербурга, — скромно сказал я, переминаясь с ноги на ногу. — Аннушка в моих пьесах играла.

— Как... играла... Почему в ваших?..

— А кто тебя за язык тянет, эфиоп, — с досадой пробормотала Аннушка. — Места только лишишься из-за вас, чертей. Видите ли, барыня... Ихняя фамилия — Аверченко.

— Что ж вы тут, господи, пожалуйста в столовую, я вас с мужем познакомлю. Мы очень рады.

— Видала? — заносчиво сказал я, подмигивая. — А ты меня все ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются и к столу приглашают.

С черного хода постучались. Вошел еще один Аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший когда-то третьей армией. Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с галуном и сказал:

— Чай да сахар. Извините, что поздно. Такое наше дело швейцарское.

Мы сидели в столовой, за столом, покрытым белоснежной скатертью. Мы трое — кухарка, швейцар и я. Хозяин побежал в лавку за закуской и вином. Хозяйка раздувала на кухне самовар.

Юрий Коваль. От красных ворот

Я всю жизнь терпеть не мог маленьких беленьких собачонок. И в особенности тех, у которых были такие розовые глазки, принакрытые бровками.

Розовые, розовые, розовые глазки!

Из-за вас

в который раз

хожу на перевязки.

Я не понимал, как можно ходить на перевязки из-за такой чепухи.

Беленьких собачонок с розовыми глазками я не считал собаками. Для меня это были бегающие шампиньончики.

Я питал страсть к гончим псам, к благородным сеттерам - ирландским и гордонам, я уважал дратхааров, преклонялся перед западносибирской лайкой.

Впрочем, Милорд не был таким уж маленьким и беленьким. Его нельзя было назвать шампиньончиком.

Для фокстерьера у него был хороший рост, а белую его рубашку украшали черные и коричневые пятна. Одно ухо - черное, а вокруг глаза расширилось коричневое очко, симпатично сползающее к носу. И никаких розовых глазок осмысленные, карие, с золотинкой.

И все-таки для моих широких собачьих воззрений Милорд был мелковат. Его можно было назвать словом "кобелек", и это меня огорчало. Чего уж там "кобелек", надо бы - "кобель".

Боря, братик мой дорогой, по телефону говорил на английском языке для секретности обстановки. Но мне ясно было, что говорит он со своей воздушной невестой, которая этот язык понимает, а мне надо пока обождать. И я ждал, размышляя, совпадает ли Милорд с широтой моих собачьих воззрений? Не шампиньончик ли он? Все-таки я приходил к выводу, что он хоть и кобелек, но не шампиньончик.

Странно все-таки это получилось, что у меня объявился Милорд.

Мое беспардонное "пцу-пцу" почему-то показалось ему столь замечательным, что он, не раздумывая, бросился в воду. Не обещал ли я ему чего-нибудь лишнего, когда исторгал этот немыслимый звук?

Но что, собственно, обещает собаке человек, когда произносит "пцу-пцу"? Да ровно ничего, кроме сухарика и легкого потрепывания за ухо. И Милорд получил это сразу же, в лодке. На всякий случай он побежал за мной к автобусу, ожидая, не перепадет ли ему еще чего-нибудь.

И ему перепало второе "пцу-пцу", решающее. И он ринулся в автобус.

Он выбрал меня, он порвал с прошлым. И я принял его.

Судьба точным движением свела нас в одной точке.

Самое же удивительное было то, что отец сказал "сам". Это слово подтверждало точное движение судьбы. Она свела нас в одной точке в тот самый момент, когда Милорду был нужен я, мне - он и когда отец не мог ничего возразить.

Судьба точным движением свела нас в одной точке, и точку эту надо было понемногу расширять. Брат мой Боря разговаривал по-английски, а мы расширяли точку. Впрочем, пока не до : безумных размеров. Мы гуляли у Красных ворот.

У Красных ворот стоял наш дом - серый и шестиэтажный, эпохи модернизма. Но не в серости его и шестиэтажности было дело. Важно было, что он стоял у Красных ворот.

Я гордился тем, что живу у Красных ворот.

В детстве у меня была даже такая игра. Я выбегал к метро и спрашивал у прохожих:

- Ты где живешь?

- На Земляном или на Садовой, - отвечали прохожие.

- А я у Красных ворот. Это звучало сильно.

Обидно было, конечно, что никаких ворот на самом деле не было, не существовало. Они стояли здесь когда-то давно-давно, а теперь на их месте построили станцию метро. Эта станция, построенная в эпоху серого модернизма, могла сойти и за ворота, но то были ворота под землю, а ворота под землю никогда не могут заменить ворот на земле.

Не было, не было Красных ворот, и все-таки они были. Я не знаю, откуда они брались, но они были на этом месте всегда. Они даж как будто разрослись и встали над метро и над нашим домом.

Надо сказать, что проблема полета домашних животных никогда особенно не занимала меня, а в период подготовки к экзаменам я не мог уделять этому делу никакого времени.

Просто-напросто, отбросив учебники, я выходил с Милордом к фонтану.

К нам присоединялось и некоторое третье лицо - тонкий кожаный поводок, который я пристегивал к ошейнику собаки. Дома пристегивал поводок, у фонтана отстегивал.

Поводок был необязателен. Милорд сам по себе ходил у моего ботинка. Но все приличные владельцы собак имели поводки. Поводок считался важным звеном, связывающим человека с собакой, и я это звено имел.

Это кованое тоненькое, но крепкое звено Милорд ненавидел. Он не понимал его смысла. Он считал, что нас связывает нечто большее.

Как только я отстегивал поводок у фонтана, Милорд немедленно принимался его грызть.

Это сердило. Я не мог каждый день покупать связывающие нос звенья. И я старался отнять у Милорда кожаное изделие.

Уступчивый обычно Милорд оказался здесь на редкость упрям. Я не мог выдрать поводок из его зубов. Фокстерьеры вообще славятся мертвой хваткой, и Милорд поддерживал эту славу изо всех сил.

С мертвой хватки и начались необыкновенные полеты Милорда.

Однажды у фонтана он вцепился в поводок особенно мертво. Так и сяк старался я расцепить его зубы и снасти поводок. Многие жители нашего двора повысовывались в окна, потому что у фонтана слышалось грозное рычание и мои крики в стиле: "Отдай! Отцепись! "

Оконные зрители раздражали меня, я дергал поводок все сильнее. Милорд же все сильнее упирался и сквозь зубы рычал.

Я затоптался на месте, туго натянув поводок, закружился, и Милорду пришлось бегать вокруг меня. Я затоптался быстрее - Милорд не успевал переставлять ноги, они уже волочились и вдруг оторвались от земли.

Низко, над самой землею летал вокруг меня Милорд. Он рычал, но поводок изо рта не выпускал.

Я кружился все быстрее, Милорд подымался в воздухе все выше и скоро достиг уровня моей груди.

Голова у меня у самого уже закружилась, но я поднял его в воздух еще выше, и вот он летал на поводке в воздухе высоко у меня над головой.

Зрители остекленели в окнах.

Никогда в жизни ни одна собака не летала еще в нашем дворе вокруг фонтана.

Наконец чудовищная центробежная сила разжала мертвую хватку, Милорд отпустил поводок и, подобно лохмоту и рычащему бульжнику, выпущенному из пращи, полетел от меня над фонтаном.

Он врезался задом в окно первого этажа, которое, впрочем, было затянуто крепкою стальною противобольной сеткой.

Отпружинив от сетки, Милорд снова ринулся ко мне, вцепился в ненавистный поводок, и я снова закрутил его над фонтаном.

Необыкновенные полеты гладкошерстного фокстерьера сделались любимым зрелищем мелких жителей нашего двора и крупной уличной шпаны. Когда мы гуляли у фонтана, вокруг нас всегда топтались темные типы с просьбою "повертеть Милорда". Я же, отупевший от собственных успехов, частенько уступал их просьбам.

Я раздражал Милорда поводком, давал ему покрепче ухватиться и начинал, как волчок, крутиться на месте, постепенно отрывая собаку от земли.

Иногда мне удавалось угадать момент, когда чудовищная центробежная сила должна была вот-вот победить мертвую хватку, и я постепенно опускал собаку на землю. Больше же частью этот момент угадать мне не удавалось, и чудовищная центробежная сила побеждала мертвую хватку, и, подобно бульжнику, выпущенному из пращи, Милорд улетал от меня над фонтаном и попадал задом в окно первого этажа, затянутое крепкою стальною сеткой.

А там, за этим окном, всегда, и даже летом, готовила уроки отличница Эллочка, и многие считали, что я нарочно целюсь в ее окно своей летающей собакой.

Но, хотя Эллочка всегда внутренне притягивала меня, я никогда в ее окно Милордом не прицеливался. Глубокий внутренний интерес, который я чувствовал к Эллочке, как-то сам по себе воплощался в собачьем полете, и как же, наверно, удивлялась Эллочка, когда, оторвав свои очи от бледных ученических тетрадей, вдруг видела, как в окно ее летит по воздуху задом гладкошерстный фокстерьер.

Летающий Милорд не всегда попадал в это чудесное окно. Иногда улетаю от меня, он врезался в прохожих, опрокидывал урны. Голубчик, он вовсе не обращал внимания на то, во что врезался. Ему явно нравилось летать, и, врезавшись во что-то, он тут же вскакивал на ноги и мчался ко мне, готовый вступить в мертвую схватку с чудовищной центробежной силой.

Пришел месяц сентябрь, и я вступил под своды Московского государственного педагогического института.

"Под своды" - это сказано правильно. Институт наш имел как-то особенно много сводов, куда больше, чем все другие московские вузы. И главный, стеклянный его свод увенчивал огромный Главный зал. А в Главном зале нашего института свободно мог бы уместиться шестиэтажный дом эпохи модернизма.

Прохлада и простор - вот какие слова приходят мне на ум, когда я вспоминаю Главный зал нашего института. Луч солнца никогда не проникал сквозь его стеклянный потолок, здесь всегда было немного пасмурно, но пасмурный свет этот был ясен и трезв. Что-то древнеримское, что-то древнегреческое чудилось в самом воздухе этого зала, и только особенный пасмурно-серебряный свет, заливающий его пространство, подчеркивал северность этого храма науки.

А на галереях, усложненных пилястрами и балюстрадами, на галереях с элементами колоннад было еще много сводов, а под сводами этими... боже! Чего только не бывало под этими сводами! Какие вдохновенные лица горели на галереях и блистали на кафедрах, какие диковинные типы толкались у колонн и толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени. Только лишь один простой перечень славных имен занял бы сотню самых убористых страниц, и нет никаких сил составить такой перечень, но и удержаться безумно трудно.

Ну вот хотя бы - Юрий Визбор. Ну Юлий Ким. Ну Петр, хотя бы, Фоменко, ну Юрка Ряшенцев, ну Лешка Мезинов, ну Эрик Красновский... Нет, не буду продолжать, иначе мне никогда не вырваться из-под магического знака великих и родных имен, так и буду вспоминать, так и буду перечислять до конца дней своих, забросив к чертовой матери детскую и юношескую литературу. да ведь и как забыть эти лица, освещенные вечным пасмурным светом, льющимся с наших северных небес в глубину Главного зала?! Вот, скажем, Алик Ненароков? И не только он! А Гришка-то Фельдблум? А Валерка Агриколянский?

А какие же ходили здесь девушки! Да что же это за чудеса-то бегали тогда по бесконечным нашим лестницам и галереям?! Бог мой, да не я ли отдал в свое время всю жизнь за Розу Харитонову? Невозможно и невыносимо просто так, без сердечного трепета называть имена, которые вспыхивали тогда под пасмурным серебряным и стеклянным нашим потолком. И я трепещу, и вспоминаю, и буквально со слезами полными глаз думаю... Впрочем, хватит слез и глаз, но вот еще одно имя - Марина Кацаурова.

Именно из-за нее притащил я в институт Милорда.

Посреди Главного зала, под северным и серебряным нашим стеклянным потолком, раскрутил я Милорда. Чудовищная центробежная сила взяла верх над мертвою фокстерьерской хваткой - и рычащий Милорд полетел над головами доцентов и врезался в почетнейшую доску, на которой было написано: "Славные сталинские соколы-стипендиаты".

Запахло отчислением.

Дня через два меня пригласил в кабинет наш именитый декан Федор Михайлович Головенченко. На его имя подали докладной конспект, в котором описывалось мое поведение. Среди прочих оборотов были в нем и такие слова: "... и тогда этот студент кинулся собакой в доску".

- "И тогда этот студент, - читал мне Федор Михайлович, многозначительно шевеля бровями, - кинулся собакой в доску".

И Федор Михайлович развел величаво философские брови свои.

- Что же это такое-то? - сказал он. - "Кинулся собакой". Вы что же это - грызли доску? Тогда почему "кинулся собакой в доску? Надо бы - "на доску". Или студент был "в доску" Что вы на это скажете?

Я панически молчал. Я не мог подобрать ответ, достойный великого профессора.

- Впрочем, - размышлял Федор Михайлович. - Следов погрыза или другого ущерба на доске не обнаружили. Доска, слава Богу, цела... Но поражает словесная фигура: "... и тогда этот студент кинулся собакой в доску". Что же это такое?

- Извините, мне кажется, что это - хорей, - нашелся наконец я.

- Хо-рэй? Какой хо-рэй?

- Четырехстопный.

- В чем дело? О каком вы хо-рэе?

- "И тогда этот студент кинулся собакой в доску"...

Я полагаю, что это хорей, Федор Михайлович, но с пиррихием.

Федор Михайлович воздел длани к сводам и захохотал.

- Божественный хо-рэй! - воскликнул он. - Божественный хорэй! И он еще рассуждает о хо-рэе! Подите вон, знаток хорэя, я не желаю больше думать о собаке и доске!

Я попятился, наткнулся на какое-то кресло, замялся в дверях, не понимая, прощен ли я.

- О, закрой свои бледные ноги! - воскликнул тогда декан, и, бледный, закрыл я дверь деканата.

Оказалось все-таки, что я прощен, но потом не раз вспоминал заключительную фразу профессора. Я не мог понять, почему великий декан, грозно прощая меня, привел классический пример одностишия - "О, закрой свои бледные ноги". Наверно, мой жалкий вид не мог возбудить в его памяти никаких стихов, кроме этих.

Больше я Милорда в институт, конечно, не водил. Но как же плакал и рыдал он, когда я уходил из дому, он забивался под кровать и лежал там в тоске, нежно прижавшись к старому моему ботинку. Сердце разрывалось, но я ничего не мог поделать - собака есть собака, а студент есть студент.

К концу сентября Милорд совершенно зачах. Огромное разочарование наступило в его жизни. Ему казалось, что он нашел ботинок, возле которого можно двигаться всю жизнь, а ботинок этот удвигался каждое утро в педагогический институт.

В первое воскресенье октября я повез его в лес, на охоту.

Была тогда странная осень.

Золото, которое давно должно было охватить лес, отчего-то запоздало ни золотинки не виднелось в березняках, ни красной крапинки в осинах. Сами березовые листья как-то неправильно и стыдливо шевелились под ветром. Им неловко было, что они еще такие зеленые, такие молодые, а давно уж должны были озолотеть.

Я шел вдоль болотистого ручья, медленно постигая берега его.

Я ждал уток, и они взлетали порой, и первым подымался селезень, а следом - утка, и только потом, в небе, они перестраивались иначе - первой шла утка, а за нею - селезень. Впрочем, осенью всегда трудно разобраться, где утка, где селезень, не видно немисливо-зеленой весенней селезневой головы, только по взлету и полету можно догадаться.

Странная была тогда осень. Утки отчего-то разбились на пары, а надо было им собираться в стаи и улетать на юг.

Утки, разбившиеся на пары, и листья, которые не желали золотеть, изо всех сил затягивали лето.

Я иногда стрелял. Милорд при звуках выстрелов выскакивал высоко из травы, выглядывая улетающую добычу. Он не понимал меня и моей стрельбы, потому что в душе не был, конечно, утятником. Его тянуло в лес. Мне же хотелось подбить утку, чтоб Милорд понял в конце концов, что не зря поклонялся моим сапогам и ботинкам.

Было любопытно, как он поведет себя, когда я подобью утку. Сообразит, что ее нужно подать из воды. или нет? Я был уверен, что сообразит.

Наконец какой-то селезень зазевался. Он только еще начал хлопать крыльями, чтоб подняться с воды, как я врезал дробью ему под крыло. Утка, скрежеща крыльями, ушла.

Селезень бил крылом по воде совсем неподалеку, надо было перепрыгнуть ручей, чтобы достать его. В азарте я позабыл, что решил поручить это дело Милорду, и прыгнул.

Я прыгнул с трясинистого берега, и нога, которой я оттолкнулся, призавязла немного, трясина прихватила сапог, сняла его с ноги наполовину, и пока я перелетал с берега на берег, сапог отпал с моей ноги и упал в неприятную ржавую жижу.

Очутившись на другом берегу, я не сразу сообразил, что делать: спасти сапог или бежать к селезню, который все еще бил крылом по воде.

Милорд сообразил сразу. Он кинулся в ржавую жижу, схватил сапог, вытащил на берег и уложил точно у правой ноги, на которую сапог приходился. Потом пробежал по берегу, быстро достал селезня и положил к левой обутой ноге.

А к полудню попали мы в лес - настоящий матерый сосняк. Сосны росли на буграх, и не было больше никаких деревьев - сосны, сосны, а на открытых солнцу песчаных откосах восходил к небу необыкновенный, униженный синими морозными ягодами можжевельник.

Я разложил костер. Мне хотелось накормить Милорда утиным супом, но, пока я возился да раздувал огонь, Милорд исчез.

Этого не бывало никогда. Милорд всегда кружился у моего ботинка. Я вдруг сильно напугался, свистел и кричал, бегал по лесу и, когда вернулся к костру, услышал далекий собачий лай.

Это был голос Милорда, и шел он из-под земли.

И только тут я увидел под сосновыми песчаными корнями - нора, ведущая в глубь бугра.

Я пал на землю, покрытую сосновыми иголками, разбросал маслята и рыжики, которые мешали слушать, и приник ухом к бугру. Так странно было слышать собачий лай из глубины земли.

Лай вдруг прервался, послышалось рычание. Так точно рычал Милорд, когда вцеплялся в поводок, и я понял, что он отдался мертвой хватке, вцепился под землей в кого-то и не отпустит ни за что, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила. Несколько часов лежал я на земле и слушал его голос, а сделать ничего не мог. Не было у меня, конечно, никакой лопаты, а если б и была, то какого черта и где копать? - Милорд! - кричал я иногда в отчаянии. - Кончай эту ерунду!

Конечно, он меня слышал, но бросать барсука, а скорее всего это был барсук, не собирался. - Ухожу! Ухожу на электричку! - в отчаянии кричал я, но он понимал, что я никуда не уйду, так и буду торчать на барсучьем бугре до вечера, а потом и всю ночь, и весь следующий день, в общем, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила.

И я решил уйти. Милорд услышит из-под земли мои шаги, поймет, что я и вправду ухожу. Пусть выбирает: я или мертвая хватка.

Я затоптал с яростью костер. Громко топая, пошел я к ручью. Боже, как же я топал и проклинал песок за то, что он гудит под каблуком не так гулко, как надо бы.

Милорд появился внезапно и как ни в чем не бывало, просто вдруг выпрыгнул сбоку из травы. Ухо у него было разорвано, вся морда в крови. Но он не обращал на это никакого внимания и только лишь веселился, что догнал меня.

Я все-таки подтащил его к ручью, слегка омыл морду, раскупорил патрон, присыпал раны порохом.

Уже вечерело, и мы пошли к станции через болото, напрямик.

В одном особенном каком-то зеленом и сыром месте Милорд вдруг высоко подпрыгнул. Опустился в траву и снова прыгнул, как-то странно, боком. Пока я бежал к нему, он все прыгал на месте.

Это была гадюка. Черная, аспидная. Я выстрелил и перешиб ей шею.

На следующее утро, как всегда, опустил я на пол босые ноги, и Милорд тут же лизнул меня в пятку.

"Слава Богу, - подумал я. - Не успела укусить".

Я пошел умываться, и Милорд двинулся за мной. Он полз по полу, перебирая передними лапами. Задние отнялись.

От Красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по Садовой к Земляному валу. Милорда я держал на руках, он лизал меня в подбородок.

- Держите его крепче, - сказал ветеринар. - Зажмите пасть.

Я прижал Милорда к клеенчатому столу, сжал изо всех сил пасть, и врач всадил ему в живот тупую иглу.

А мама моя названивала в ветеринарную академию, но никак не могла найти человека, который знал бы, как лечить фокстерьеров от укусов гадюк. Наконец, нашелся человек, который рекомендовал марганцевые ванны.

Каждое утро Милорд выползал из-под моей кровати и отправлялся на поиски мамы. Он жалобно скулил, умоляя сделать ему очередную марганцевую ванну.

А я двадцать дней подряд бежал с ним по Садовой к ветеринару. Уколы эти были ужасны, игла тупа. С трудом удерживал я Милорда.

Ванны и уколы помогли. Лапы постепенно начинали двигаться. Вскоре Милорд уже кое-как ковылял, потом скованно припрыгивал и в конце концов бежал нормально. Все вроде бы пошло по-старому, изменилось одно: он не лизал меня утром в пятку, перестал двигаться рядом с моим ботинком.

Я превратился просто в хозяина собаки, в человека, у которого проживает гладкошерстный фокстерьер.

Я переживал ужасно. Я понимал, что все пройдет и когда-нибудь Милорд позабудет ту чудовищную боль от ветеринарной иглы. А Милорд боялся меня. Он думал, что я вдруг схвачу его и снова потащу на укол.

Да, странная была тогда осень. Деревья в Москве облетели только в конце октября. Двор наш весь был засыпан листьями ясеня, тополя, американского клена.

Дворничиха тетя Наташа сметала листья метлой в огромные кучи, и Милорду нравилось залезать в эти кучи листьев. Ему казалось, что там кто-то шуршит.

Он разгребал листья лапами, фыркал, рычал, кидался в охристую глубину. Но листья, конечно, шуршали от старости, никого в себе не тая.

Я тоже делал вид, что там кто-то есть, и вместе с Милордом накидывался на кучи листьев, разгребал их, разбрасывал в разные стороны.

Иногда я нарочно запрятывал в листья кусок сахара или сухарик, и в полном восторге мы находили его.

Не знаю уж, что помогло - время или листья, но, кажется, листья. Однажды я опустил с кровати на пол босые ноги и почувствовал - пятку мою лизнули. Я так радовался в этот день, что хотел даже прогулять институт, и надо было бы прогулять и уехать с Милордом куда-нибудь за город, на Москву-реку, в Уборы, надо было бы перерыть там и перебрать все опавшие листья.

Но я - по глупости - пошел в институт, а когда вернулся - Милорд встретил меня во дворе.

Вместе мы обшарили все кучи листьев, нашли куса два сахара, и я побежал наверх, на третий этаж, обедать. Милорда я спокойно оставил погулять во дворе. Его ведь все знали во дворе и все любили, а на улицу Милорд без меня никогда не выходил.

Я обедал еще, когда услышал, что со двора мелкая шпана громко называет по имени мое имя.

Я выбежал во двор.

- Мужик! - кричала мелкая шпана. - Мужик в серых брюках! Пристегнул его на поводок! Пристегнул и потащил! - Туда, туда по Садовой! От Красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по Садовой-Черногрязской к Земляному валу. Передо мной и за мной вслед бежала мелкая дворовая шпана. Вон он! Вон он! Вон он! - кричали они. Я бежал и не видел нигде Милорда и мужика в серых брюках. Меня обгоняли троллейбусы и машины, движение огромного города обгоняло меня, тысячи и сотни мужиков в серых брюках разлетались в стороны. Я понимал, что все кончено и я больше никогда в жизни не увижу Милорда, и все-таки бежал, а навстречу мне летела в глаза холодная серая пыль, и я не понимал, что это уже снег. Я бежал по Садовой к Земляному валу. От Красных ворот.

И. Бродский Мой народ

Мой народ, не склонивший своей головы,
Мой народ, сохранивший повадку травы:
В смертный час зажимающий зёрна в горсти,
Сохранивший способность на северном камне расти.

Мой народ, терпеливый и добрый народ,
Пьющий, песни орущий, вперёд
Устремлённый, встающий - огромен и прост -
Выше звёзд: в человеческий рост!

Мой народ, возвышающий лучших сынов,
Осуждающий сам проходимцев своих и лгунов,
Хоронящий в себе свои муки – и твёрдый в бою,
Говорящий бесстрашно великую правду свою.

Мой народ, не просивший даров у небес,
Мой народ, ни минуты не мыслящий без
Созиданья, труда, говорящий со всеми как друг,
И чего б не достиг, без гордыни глядящий вокруг.
Мой народ! Да, я счастлив уж тем, что твой сын!
Никогда на меня не посмотришь ты взглядом косым.
Ты заглушишь меня, если песня моя не честна.
Но услышишь её, если искренней будет она.

Не обманешь народ. Доброта - не доверчивость.
Рот, Говорящий неправду, ладонью закрывает народ,
И такого на свете нигде не найти языка,
Чтобы мог говорящий взглянуть на народ свысока.

Путь певца - это родиной выбранный путь,
И куда не взгляни - можно только к народу свернуть,
Раствориться как капля в бессчётных людских голосах.

Затеряться листком в неумолчных шумящих лесах.

Пусть возносит народ - а других я не знаю судей,
Словно высохший куст, - самомнение отдельных людей.
Лишь народ может дать высоту, путеводную нить,
Ибо не с чем свой рост на отшибе от леса сравнить.

Припадаю к народу. Припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяюсь в её языке.
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз
Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.

Сергей Каргашин «Я – русский! Спасибо, Господи!»

Я – поле. Бабушкин крест.
Я – избы Рязанской области.
Я – синь. Подпирающий лес.
Я – русский! По самое горлышко.
Во веки веков. Насквозь.
Я – лебедя белого пёрышко.
Я – воина павшего кость.
Какие б ни выпали горести,
Всем бедам хриплю назло:
Я – русский! Спасибо, Господи!
Я – русский. Мне так повезло!..
Пусть времени кружатся лопасти,
Меня у меня – не отнять.
Россия, как крепость над пропастью,
Стояла и будет стоять!

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Все же мне вас жаль немножко.
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,

Вьется локон золотой. 1828 г. Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой. Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой. Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой. Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой. Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.